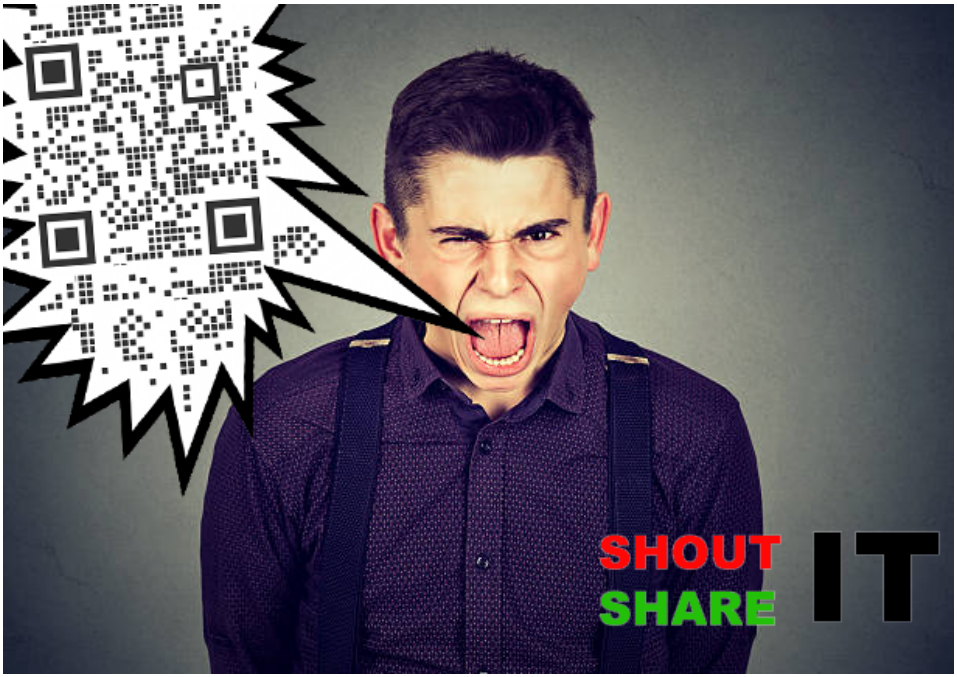
Кладовка

Владимир Домогацкий


SHOUT
SHARE
IT

ВЛАДИМИР ДОМОГАЦКИЙ

КЛАДОВКА

ПОПЫТКА КОНСЕРВАЦИИ

Предисловие

Владимир Владимирович Домогацкий (1909—1986) принадлежал несомненно к тому типу художника, для которого, как и для его отца - скульптора Вл. Н. Домогацкого (1876—1939), искусство составляло квинтэссенцию жизни. И не только потому, что в искусстве отражена его душа, физическая природа, все связи с миром, а еще и потому, что все, что бы ни окружало его, вся среда, в которой был он, — не только когда рисовал, писал, резал гравюру, а просто думал, курил, читал, пил кофе, разговаривал, хоть с философом, хоть с водопроводчиком, — все волшебным образом преображалось, неожиданно становилось «совсем из другой оперы». Это было очевидно для каждого, кто с ним хоть немного общался или был знаков Один из его любимейщих писателей, М. Пруст, считал, что «талант художника действует так же, как сверхвысокие температуры, обладающие способностью разлагать сочетания атомов и группировать их в абсолютно противоположном порядке, создавать из них другую разновидность». Рядом с В.В. Домогацким все превращалось в «другую разновидность».

Каждый, кто переступал порог его дома, по доброй воле, конечно, одновременно переступал и порог своей собственной каждодневной обыденности, обретая ту превосходную степень, на которую только был способен от природы. Каждому передавался, видимо, его необъяснимый внутренний свет, обладавший драгоценным свойством высвечивать в собеседнике все самое лучшее. Это был замечательный дар. В природе он страшно редок.

Его способность рассказывать была тоже, конечно, из области искусства, потому что рассказом своим он умел создать реальность иного плана, реальность настолько подлинную, что собеседник начинал чувствовать себя в ней так же уверенно и естественно, как и сам рассказчик, даже как бы начинал дышать воздухом этой вновь воссозданной перед ним реальности. Чудо

собственного перевоплощения было настолько неотразимо просто, что всегда был соблазн даже и не признавать его чудом: конечно же ты был соучастником, это было с тобой, твое и теперь от тебя так же неотделимо, как от него самого.

Видение его было ярким, вобравшим в себя столько красок, запахов, света и воздуха его России, а рассказ столь образным, что давал средство проникнуть в то, чего иной был лишен в своем прошлом. Своими рассказами он как бы перетекал в собеседника своей существенной частью, и тот всегда уходил с ощущением куда более емкой, чем прожитая в действительности, жизни.

Потому-то уход Домогацкого был столь ощутимой утратой для всех, кто его знал. Для них и, наверное, для многих других, кому не выпало его знать, воспоминания, его «Кладовка»,— это возможность вместе с ним проследовать в реальность его мира, увидеть в ней, будто озаренными, разные линии и планы своей собственной жизни и души, планы, которые без его помощи, может быть, так бы и остались навсегда неугаданными.

«Кладовка» писалась в конце 60-х — начале 80-х годов и была она много, много больше. Его близким не раз приходилось сражаться за сжигаемые им куски. Он был неумолим: «Чем меньше останется, тем лучше». Наверное, он был прав. То, что он оставил, это не мемуары в привычном смысле слова, это уже литература, искусство. В этом убеждают те огромные световые колодцы, вобравшие в себя все его мироощущение, которыми полны сохраненные страницы. То, что тяготело к «мемуарности» (и не было времени из-за повседневной работы для соответствующей отделки), подлежало уничтожению. С этими кусками ушло много фактических подробностей, которые удерживала его блестящая память. Но не это он считал главным и не ради них решился он писать.

Происхождение «Кладовки», ее истоки надо искать и можно найти только там, откуда вышли «Другие берега» Набокова (эта вещь, хочу заметить, была прочитана Домогацким в ксерокопии года за полтора до смерти, когда «Кладовка» была уже написана, перепечатана на машинке в единственном экземпляре, а черновики сожжены), — в той же тоске и мечтах по России, хотя Домогацкий никогда из нее не уезжал и даже не ездил никуда дальше средней полосы. Его тоска по Адамполю не менее, а может быть, еще более трагична, чем тоска Набокова по Выре и Рождествену. Более — потому что он твердо знал, что этого места просто нет больше на земле и в него нельзя вернуться даже на миг, даже «с подложным паспортом».

Но «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда», — говорит Набоков. Действительно, память и искусство

способны заставить жить вечно все, поддающееся физическому разрушению.

Выра, Адамполь, Рождествено завещаны нам как крошечные островки, сохраняющие «кладовки» с чистой водой.

С. Домогацкая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

В кладовых нашей памяти заложено неисчислимое количество впечатлений. Под понятием «память» принято понимать способность получать впечатления, складывать их в наши кладовые, сохранять их и уметь по мере надобности извлекать на свет Божий.

У меня хорошая память, я помню себя и окружающий меня мир с очень ранних детских лет. Помню все это очень ярко, и с годами эта яркость ничуть не тускнеет. Однако, сравнивая впечатления, сохранившиеся от очень раннего детства, с несколько более поздними, я обнаруживаю некоторое качественное различие. С какого-то возраста воспоминания последовательно идут одно за другим, их, как узлами, связывают события, люди и обстоятельства. Словом, все то, что позволяет соединить их в единую цепь.

Цепь эта и есть именно то, что в моей памяти сохранилось как понятие «моя жизнь». Моя последовательная память, память-«цепь», началась примерно с четырехлетнего возраста. Последовательность ее, конечно, тоже относительна. Она зияет пробелами, однако ее нетрудно увязать и со временем и с обстоятельствами. Этой более или менее непрерывной памяти предшествуют некие иные всполохи воспоминаний. Уловив их, вытащив, раскопав, мы становимся подобны археологу, перед которым лежат звенья несомненно одной цепи, но место их угадывается лишь приблизительно. Таким образом, перед нами лежит все же цепочка, но в ней больше пустот, чем связанных между собой звеньев.

Между тем пустоты эти лишь мнимые. В действительности на дне нашей памяти лежат ярчайшие впечатления, которые мы вправе считать нашими «краеугольными камнями». Но материализовать их как некую реальность мы не в состоянии. Наши кладовые не имеют ограничительных стен, лишены света, а для того, чтобы что-то добыть из них, нужно знать, за какую именно ниточку можно выдернуть искомое. Обычно эту работу

производит наше подсознание, производит совсем незаметно для нас, но когда мы хотим добыть наши неоформленные впечатления, ни сознание, ни подсознание не помогут нам вытащить их на свет Божий. Только капризный и благодетельный случай может, использовав самые непредвиденные пути, помочь нам. С кем этого не случалось?

Первый раз я был в Малороссии, когда мне было полтора года. Об этом лете я ничего не помню. Знаю о нем лишь по рассказам взрослых. Однако в этом затмении почти полного беспамятства для меня просвечивают какие-то неясные пятна. Они расплывчаты, беспредметны, и у меня нет возможности превратить их в осмысленный образ.

Вторично я был там уже семилетним. Для меня в этом возрасте память уже давно сплелась в непрерывную цепь, такую же, как у взрослых людей, то есть с естественными выпадениями чего-то второстепенного. Разница со вполне взрослой памятью была в том, что все впечатления были более яркими, более отобранными и отличались соответственной возрасту ракурсностью.

Эта вторая поездка протекала почти так же, как и первая, с пересадкой в Киеве. Няня незадолго до города вывела меня в коридор к окну и велела встать на приступочку повыше. Там я увидел то, что в абсолютно бесформенном состоянии, не поддающееся никакому понятию, никакому образу, совершенно ни с чем не связанное, существовало уже давно во мне самом.

Моя жизнь до того, как няня подвела меня к этому поездному окну, постоянно сталкивалась с тем, что было следствием совершенно неведомой мне причины.

Увиденное в этом окне было подобно встрече с чем-то подспудно знакомым, с чем-то, что удалось наконец материализовать как некое связанное с миром явление.

Няня рассказала мне, что в первую нашу поездку она точно так же поднесла меня к окошку и показала разворачивающуюся там панораму Киева.

Я семилетним воспринял этот увиденный мной город как счастье, которое вернулось ко мне. То, что я увидел, было так до боли знакомо, так наотмашь прекрасно, что я просто не мог понять, как я жил эти годы, зримо не вспоминая этого счастья. Теперь-то я знаю, что в действительности я продолжал помнить о нем, но только той, другой, неоформленной памятью. Я не только помнил о нем, но и жил им, оно присутствовало, все время находясь во мне самом, и окрасило со времен моего полуторагодовалого детства мою жизнь. Но теперь благодаря случаю я знал не только его название, но и то, как оно выглядит.

Некая туманность, жившая во мне, окрасившая мою жизнь, ставшая частью меня самого, стала теперь реальностью мира, к тому же лежащей вне меня.

Мы живем набитые сверх всяких возможных мер впечатлениями, о которых прямо мы ничего не можем рассказать. Это относится не только к нашим ранним детским бесформенным впечатлениям, но и ко всем прочим, которые прошли через нашу жизнь «не представившись». Если что-то совсем непредвиденное извлечет впечатление, давно уже ставшее нашей неотъемлемой частью, нас больше всего поразит то, что мы каким-то колдовским образом не знали его по имени.

Каждый человек чувствует, знает, что он одновременно живет неисчислимым количеством жизней. Та же, которая носит название нашей реальной жизни, всего лишь следствие стечений более или менее случайных обстоятельств. Эта наша реальная жизнь — всего лишь крохотный приживальщик при нас самих. Она смехотворно мала и нелепа. Считаться с этой «реальностью», хочешь не хочешь, приходится, но принимать ее всерьез могут только очень наивные люди.

Все, что есть подлинного в искусстве, все, что является «откровением», черпается из бесчисленных наших жизней, а наш приживальщик выступает лишь в роли соучастника.

То, что я тогда увидел в окне поезда, был растянувшийся по горизонту и поднимавшийся вверх уступами зеленых, тонущих в синеве садов на фоне щедрого украинского неба златоглавый город. Сады громоздились так торжественно, бесчисленные золотые купола так полыхали солнцем, небо так расточительно сияло, что создавалось впечатление непрерывного звона. Звон шел от света, от воздуха, от золота куполов, от всего несущегося мне навстречу мира, мира лета девятьсот шестнадцатого года, и это было счастьем. Счастьем все это осталось для меня и по сей день. Я пронес это впечатление через всю жизнь. В моей кладовой оно лежит нетронутым, и любое обманчиво похожее впечатление дает мне заново возможность вдохнуть в себя счастье.

Я никогда более не был в Киеве и, вероятно, не буду. Возможно, что панорама эта теперь выглядит как-то иначе, а той, старой, уже нет, как нет и того гусарского офицера, который стоял тогда в проходе, прислонясь к косяку двери, и безмятежно смотрел на приближающийся к нам великий и древний город.

Кладовые моей памяти наполнены содержимым, для меня драгоценнейшим. Ведь в основе их лежат мои впечатления, а они по первоистокам своим «высоких кровей». Им предшествует неведомый и, к счастью, никогда не доступный для нас процесс восприятия и еще более недоступный нам акт отбора. Ведь

воспринимаем мы лишь ничтожную часть того, что лежит на нашем пути. Мы ничего не знаем о том, какую часть составляет воспринятое нами и превращенное в зримо или мысленно ощутимый образ и какую часть составляет то, что, не оставив ничего в нашей памяти, само собой как бы всосалось в нас.

Когда какой-то магический луч осветит нам «нечто», окажется, что мы совершенно не знаем, что мы, собсгвенно-то, увидели. По своему разумению или по чужой подсказке мы дадим этому увиденному имя, и с этим именем оно будет жить в нас.

То, что мы увидели, было освещено лучом и причудливо разукрашено светотенью, только так мы его и знаем, не в нашей власти передвигать луч. Нам также неведомы и другие проекции увиденного, мы можем лишь гадательно думать о них. Свет упавшего на что-то луча настолько слепит нас, что мы не видим уже ничего лежащего рядом. Более того, мы даже не знаем, что это увиденное — отдельный ли предмет или деталь чего-то, скажем, клок волос на голове огромной, лежащей во тьме статуи Зевса.

К нашему великому счастью, явление в целом нам неведомо, потому-то и неисчерпаем источник наших впечатлений.

Поразительными свойствами обладает самый процесс получения нами впечатлений. Любое впечатление томит нас страхом о его скоротечности, между тем мы изо всех сил стремимся изжить его поскорее во времени. Любая задержка, любая пауза заставляет нас торопиться, и если мы этого не сделаем, то явление само поторопится за нас. Оно искорежится, настолько изменится, что станет собственной противоположностью.

Разве это не похоже на жизнь, ведь это же ее модель.

Не только наши неоформленные и неузнанные впечатления всегда сохраняют свою силу и свежесть. Не менее их все, что мы так бездумно хранили в ячейках нашей памяти, также крепнет от времени, очищается, становится животворнее.

Ведь величайший смысл заключен именно в том, что впечатление должно перейти в иной порядок, и то, что мы называем явлением жизни, должно переродиться в явление памяти. Только преобразовавшись так, оно будет поить живой водой бессмертно цветущую жизнь.

Неужели даже в этом не видна та непрерывная, от сотворения мира идущая необходимость трансформации сушего, без которой невозможны ни жизнь, ни бессмертие?

Я сознательно избегаю расширения этой темы. В данном случае я претендую на частное, на совсем малое, на признание за впечатлением, восприятием, памятью их высокого царственного

происхождения.

В том или ином виде они наполняют драгоценными залежами мои кладовые. Однако когда я ставлю себя на место совсем постороннего наблюдателя, то мне несложно догадаться, что для него это всего лишь старый сарай, набитый никому не нужным хламом. Понять это очень легко, а вот соглашаться с этим мне совсем не хочется. Но неисчислимое количество наших одновременных жизней нашептывает мне: «Брось, это ведь действительно черепки, осколки неведомого тебе целого, которые ты подобрал и хранишь. Песчинки того огромного, которое есть величайший из понятных тебе даров. Дар этот ты получил. Чего же тебе еще надо? Разве того, чтобы и другие радовались ему вместе с тобой. Зачем? Ведь все они получат столько же, а использовать полученное сумеют не хуже тебя, и уж во всяком случае по своему вкусу и разумению. Радоваться вместе с тобой некому».

В этом рассуждении так много правды, что, пойми я это на двадцать лет раньше, я, пожалуй, не стал бы писать вообще.

Глава II

Столь скромное занятие, как увеличение фотографий, дало мне возможность увидеть многое из той немыслимой дали, которая не только предшествовала моей памяти, но и моему появлению в этом мире.

В конце двадцатых годов в бессонные ночи, при полном безденежье папа выклеил из картона, марли и гипсовых плиток горизонтальный увеличитель. Был он очень громоздок и малоудобен, но зато увеличивать при его помощи можно было с негативов любой величины. Так началась для нас эра увеличения нашего огромного фотографического архива. Архив этот был начат папой в середине девяностых годов, а продолжен и продолжается мной, а теперь уже и мои сыновья включились в его пополнение.

Любительская фотография — дело действительно скромное, но для меня оно было и есть всегда «упоительное» занятие. Все процессы, начиная от выбора объекта, кадровки, проявления, увеличения и так далее, пропитаны ощущением удивительного фотографического колдовства. К сожалению, на путях развития любительской фотографии выросли неожиданные и труднопреодолимые препятствия.

Фотографический снимок каким-то роковым образом стал сопрягаться с произведением изоискусства. Несущественно, как именно это сопрягается, как тождество или как

противопоставление, важно лишь то, что они несопряжимы. Они лишены даже отдаленных родственных связей. Это с очевидностью видно, когда фотография хочет претендовать на художественность, а художество на фотографию. Такое смешение ощутимо противоестественно.

Гибельную роль для любительской фотографии сыграло также развитие современной великолепной фотоаппаратуры. Оно привело к бессмысленному щелканью кадров и столь же бессмысленному увеличению отпечатков. Процесс фотографирования, механизированный, обезличенный, полностью лишенный одухотворения, ныне доступен любому болвану. Впрочем, характер нынешнего фотографического процесса способен сам по себе оболванить кого угодно. Почти вся современная фотолюбительщина безлична, однообразна, безвоздушна и хорошо, если хоть грамотна.

Фотография — далеко не единственное дело, которое в двадцатом веке умудрилось потерять само себя, даже не заметив этого.

Однако это отвлечение в сторону. Я говорю о временах двадцатых и начала тридцатых годов, когда папа длинными зимними вечерами и ночами занимался увеличением.

В отдаленном от окна углу мастерской — небольшой закуток, он отгорожен как забором поставленными друг на друга ящиками, ящики снаружи задрапированы. В закутке за этим забором — водопроводная раковина и застеленный, как кровать, диван. Вскоре после революции этот закут стал папиной спальней. Вот там-то и происходило таинство проявления. В противоположном углу мастерской стоял длиннейший увеличитель.

Огромная мастерская абсолютно темна, мы вдвоем в закутке, сидим, примостясь на ящике, перед нами, тоже на ящике, около красного света — кюветы. Фонарь, допотопный колченогий калека, тлеет магическим светом, круг его светоносности ничтожен, а далее красное переходит в полную тьму, но физически измеримое и действительно существующее — понятия не совпадающие. Мир закутка был безграничен, таковым его делало напряжение, с которым мы вглядывались в кювету, где, постепенно наполняясь градациями светотени, появлялось изображение.

Подбор негативов, подлежащих увеличению, делался заранее и к хронологическому порядку отношения не имел. Из почти сорокалетия в один удачливый вечер для нас оживали весьма разнообразные периоды.

В свете красного фонарика возникали пейзажи, постройки,

интерьеры, жанровые сцены, предметы, люди, которых я никогда не видел. Одновременно возникали также и изображения мест, зданий, интерьеров, которые я видел и помню, но уже в сильно измененном виде. Воскресали изображения людей, коих я не видал, а знал лишь понаслышке, и таких, которых знал очень хорошо, но в волшебстве фотографии они молодели иногда лет на тридцать.

Роль моя во время этого фотографического «чудотворства» была пассивной, я был зрителем и редко подмастерьем. К слову сказать, это лучший, как мне кажется, метод обучения. Самостоятельная моя фотодеятельность началась по-настоящему лишь после папиной смерти, и, к моему крайнему удивлению, оказалось, что необходимые навыки у меня уже имеются.

Во время этих вечеров шли самые различные разговоры, либо относящиеся к предмету нашей деятельности, либо совсем посторонние. Говорил в основном папа, в привычной для него манере, то есть бросал в воздух, в сторону отдельные отрывочные фразы, часто даже не обращенные к слушателю. Все время занятый делом, обрывал фразы на полуслове, а когда дело не ладилось, дергался мускулом щеки, чертыхался, но к содержанию разговора такое сопровождение отношения не имело.

То, что папа говорил, рассказами в прямом смысле не назовешь, очень уж это было фрагментарно, однако весьма запомнилось вплоть до интонации.

Он терпеть не мог длиннот и «лирических отступлений», отсюда была сжатость. Боялся неточности и особенно фальши и потому предпочитал фрагменты, считая, что «тут уж очень-то не наврешь». Я не слышал от него последовательно конструктивного рассказа, думаю, что он считал, что конструкция как бы предопределяет существо, а тут уж и до «вранья» совсем недалеко. Терпеть не мог туманных рассуждений.

Слышанные от него фрагменты мне нетрудно соединить в одно целое, и оно, это целое, то есть он и его жизнь, словно лежит зримо на моей ладони.

Его «целомудрие к слову», отвращение к пустой фразе, не точной, не образной, проистекало из великого уважения к слову. Он явно видел в слове материал, которым должен пользоваться лишь тот, кто умеет с ним обращаться, себя же считал к этому делу вполне неспособным.

Это придавало особый колорит его разговору. Если учесть среду и время, когда протекала его жизнь, его манера говорить приобретает особый интерес.

Он вырос в семье сестры, среди мучительно говорливой либеральной интеллигенции, помешанной на «общих вопросах», а

позднее провел всю жизнь среди людей, завороженных непрерывным словоговорением. Все культурное общество говорило, и подчас говорило очень «цветасто». Создается впечатление, что исключительная болтливость этой эпохи заложена в страхе не успеть выговориться до наступления неминуемо грядущего молчания. К концу жизни моего отца человеческая речь стала превращаться в бессмысленную трескотню.

Думаю, что в своем отношении к материалу человеческой речи отец мой был не одинок. Понятие «целомудрие к слову» я заимствовал у Бунина, применившего его в отношении Чехова. По тому, что мы знаем о Серове, подобное было и ему присуще, вероятно, это же было и у еще ряда других. На фоне времени эти люди были немногочисленными «протестантами».

Детство моего отца прошло в Швейцарии, в местах, расположенных на берегу Женевского озера.

Как-то у тлеющей красным светом кюветы он сказал, усмехнувшись: «Помню, стою на берегу озера и отчаянно реву. Мать вытряхивает из моих карманов камешки». И, глядя в сторону, недоуменно добавил: «Вот, значит, с каких времен я камни люблю».

Его мать умерла от скоротечной чахотки там же, папе тогда было десять дет. Ее смерть, помимо всего прочего, надолго изменила и исковеркала его жизнь. Рассказал же мне об этом так: «Ночью, когда началась агония, меня повели проститься, а потом отвели обратно в мою комнату, велели лечь спать и потушили свет. Я темноты потом еще долго боялся».

При жизни его матери они два летних месяца проводили в столь ими любимой Малороссии, которую папа до конца своей жизни так и не научился называть Украиной. Жили они там в папином полтавском имении, расположенном на берегу Псла, имение называлось Запселье. После же смерти матери папу перевезли в семью его родственников Григоренко, чье имение тоже было на Псле, в тридцати верстах от Запселья. Видимо, он любил навещать свой родной угол и часто ездил туда верхом на своей белой, в яблоках лошадке по имени Кролик. Лошадка эта была единственным живым существом, оставшимся в ту пору от его семьи. У него над столом всегда до конца его жизни висела швейцарская фотография: он, восьмилетний, в костюме для верховой езды, верхом на взнузданном по всем правилам, с мундштуком, Кролике.

В те годы от запсельской усадьбы налицо были лишь отдельные строения хозяйственного типа; один из флигелей моя бабушка приспособила для жилья. Усадьба эта больше смахивала

на богатый хутор, чем на помещичье гнездо, выручал лишь старый дубовый парк. Приусадебные постройки уже давно служили как бы контейнером, куда было постепенно свалено содержимое других имений нашей семьи, либо проданных, либо пришедших в полную ветхость. Там, в этих сараях, до начала девяностых годов, если судить по аукционной описи, было свалено то, что составляло красоту быта пудреных екатерининских вельмож и романтических героев александровского царствования. Но просвещенный и принципиальный век в вопросах красоты не разбирался. В этих вопросах понимала моя бабушка, более европейски образованная и менее позитивно настроенная, но ее уже не было на свете. Кое-что из запсельских завалов все же, чисто случайно, сохранилось даже до сего дня, и, глядя на эти случайные остатки, страшно становится за беззащитный мир вещей.

И опять мы в чахлом свете красного фонарика. Папа говорит:

«Под тем, знаешь, большим дубом в Запселье, ну тем, около которого гранитный валун лежал, там я своих зверьков хоронил. Копчик у нас одно лето жил при усадьбе, с крылом у него беда какая-то была, ему ежедневно мясо из ледника приносили, брал прямо из рук. Тушканчик у меня жил, тоже, очевидно, больной, потом погиб. Жили и разные другие. Так что кладбище, сам понимаешь, совершенно было необходимо. Ведь и ты тоже в Адамполе, помнится, аиста и чего-то еще хоронил».

Потом, через большой промежуток, проявляя уже что-то другое, затягиваясь папиросой и пропуская дым в свет фонаря, говорил:

«В Запселье, в сарае, до самого конца оставался большой кожаный альбом с рисунками, и туда много чего было вложено просто так на отдельных листах, вот материнскую акварель я вынул, а остальное не удосужился. Там, между прочим, были еще какие-то большие пейзажные акварели, весьма профессиональные. Иностранца какого-то, судя по подписи. Зря я их не взял, теперь жалею, возможно, оказались бы любопытными».

«А что же все-таки на них было изображено?»

Поворачиваясь ко мне лицом, насмешливо пояснял:

«Пейзажи какие-то «очинно» отвлеченные, ну, словом, такое».

«Папа, а еще что там, в альбоме, было?»

«Ну, черт его знает, не помню я. Разобрать собирался, но, как видишь, не пришлось. Помню, что были чьи-то портреты. Впрочем, один, кажется, был впечатляющий, весьма губошлепистый, на нас с тобой смахивающий, в халате и с чубуком. Но едва ли там было что-то толковое».

И опять, вглядываясь то ли в изображение, лежащее в красном свете кюветы, то ли в неведомую мне глубь времен, говорил:

«У Кролика система была неожиданно на ходу вдруг останавливаться как вкопанный».

«Почему он так?»

«Ну, не знаю, возможно, жабу увидит или что другое. Любознательный был».

«А как же ты?»

«Я? Летел, понятно, кубарем. Ободранные колени и один-другой синяк. Атрибуты обязательные для мальцов моего тогдашнего возраста».

А потом без всякого перехода, вдруг выпрямившись, мог спросить такое:

«Слушай, а где у нас меч этот кривой?»

Я с удивлением:

«Какой?»

«Ну, этот, с золотым орехом в рукоятке» Ты им лопухи рубил».

«Я понятия не имею об этом мече».

«Ну как же так, он в Запселье в моей детской висел, потом перекочевал к тебе. История у него какая-то легендарная была, типично помещичья. Тогда это все смешным казалось да и ни к чему. Но все-таки куда мы его дели?»

«Папа, ты, вероятно, спутал. Это ты рубил им лопухи, а не я. Я его просто не видел».

«Спутал, все может быть. Но почему я так ясно помню твою смешную детскую фигурку, отчаянно и нелепо размахивающую этим самым мечом в борьбе с лопухами?»

«Конечно ты спутал, и спутал оттого, что, как все говорят, мы очень с тобой похожи».

«Вот это, к сожалению, верно. Не свезло, брат, ну что тут поделаешь. Нет того чтобы в мать пойти, попер весь в меня. Ну ничего, как-нибудь обойдется».

Историю с аистенком я хорошо помню, а меча не помню. Образ этого меча мне теперь видится как сквозь туман, но действительно ли видится или я его присочинил с папиных слов — это мне неизвестно. Застрял этот по-настоящему древний меч в паутине моей памяти, а благотворный внешний толчок не встретился на моем пути, и не извлечь мне его из этой паутины.

А история с аистенком случилась в Адамполе. Там жило несколько семейств аистов, я помню из них два. Одна семья жила около самого дома, другая чуть дальше, на аллее, ведущей к пруду. Их огромные гнезда были устроены между разветвлениями

стволов старых корявых лип. Эти чудные птицы, и их жилище, и стволы, к которым они прикрепились, как силуэты рисовались на фоне переменчивого неба. Жизнь этих аистов, их ежечасные будничные заботы были постоянно у нас на виду. Аисты и их жизнь были частью нашей адампольской жизни, для меня же частью весьма весомой.

Не только я, все мы очень любили наших аистов, однако никаких прямых контактов у нас с ними не было. Аисты относились к нам как к соседям, с присутствием которых надо мириться. При случайных встречах где-нибудь на поляне или около пруда аист слегка поворачивал и наклонял голову, делал заметное движение крылом и отставлял ногу, все это с большой натяжкой можно было принять за церемонный поклон. Мы были для них иноплеменники, которым следовало держать дистанцию во всех смыслах этого понятия.

Однажды по каким-то своим глубокомысленным аистовым соображениям они вышвырнули из гнезда больного аистенка. Возможно, что деловитые птицы знали, что он неизлечим, а своим присутствием умирающий мешал здоровым, возможно, что ими руководили познания в антисептике. Поначалу мы все думали, что аистенок просто вывалился из гнезда, и ждали, что родители ему как-то помогут. Это было вполне вероятно, так как аистята уже как-то летали. Однако помощи аистенку никто не оказывал. Его просто игнорировали. Папа боялся, что наше вмешательство может ухудшить положение аистенка, и запретил мне подходить к нему ближе.

Шло время, а положение не менялось. Мы видели, как заботливый папаша аист непрерывно курсирует между близлежащими болотами и гнездом, приносит своим подопечным пищу, а важная аистиха словно играет в светскую даму, поглядывая высокомерно по сторонам, как птенцы со скрипучим криком открывают длинные клювы, поглощая очередную порцию, а бедный больной аистенок валяется в траве под самым гнездом. Он сидел на лапах, ссутулившийся, нахохленный, привалившись к прутьям кустов, и безропотно ждат неминуемого, лишь изредка конвульсивно вздрагивал.

Прошел час, другой, и все стаю ясно. Кто-то из прислуги видел процедуру выбрасывания аистенка, а поскольку эта «кто-то» была местная, она сообщила нам, что такова обычная повадка у аистов.

Я хорошо помню, что тогда был ясный летний день, я также хорошо знаю, что наши аисты были белыми, с черными маховыми перьями. Но в этот день я этого ничего не видел, как не видел золотого света солнца на листьях, ни цвета несчастного аистенка.

Я видел только черную расщелину между травой и в ней пятно с зигзагообразным трагическим контуром, всматриваться туда было выше моих тогдашних возможностей.

Послали закладывать лошадей, чтобы везти аистенка к ветеринару.

Папа, в пиджаке, в высоком крахмальном воротничке, в белой шляпе, в ботфортах, стоял, расставив ноги, над аистенком, а он все ниже и ниже клонил туловище, распластывался на земле.

В полном смятении я убежал в парк и оттуда, издали, услышал папин голос и понял, что он велит распрягать лошадей. Черный, разлапистый, уходящий в корневище ствол старой липы, черная сырая земля, поросшая жидким бурьяном; все это место стало для меня проклятым символом грязного преступления.

Я похоронил аистенка на откосе верхней террасы парка.

Папа, как всегда, пошел гулять и на этот раз прихватил и меня. Я с собаками плелся у него в хвосте, даже удалым адампольским псам передалось мое самочувствие, они не шастали, как всегда, по сторонам, держались поближе ко мне.

В лесу, сидя на пеньке, папа сказал:

«Я тоже в твои годы хоронил зверюшек. Паскудно, но ничего не поделаешь. А аисты, конечно, сволочи. Но подобное и у людей бывает, да еще куда погаже».

Я помню, как его передернуло и как, затаптывая окурок, он добавил:

«Пакости всяческой в жизни вполне достаточно, рекомендую на дальнейшее собственные бока от нее поберечь».

Всякая жизнь, понятно, проходит на фоне смерти, любое жизненное явление таит в себе свою противоположность. Все это можно знать и не видеть этого, это можно видеть, но отворачиваться от этого. По складу своего характера папа не умел ни от чего отворачиваться. Его жизнь буквально протекала на фоне мыслей о смерти, причем фон этот был очень активным, а временами мучительным. Все это сочеталось с его огромным жизнелюбием, с умением радоваться самым ничтожным дарам жизни. Он как никто другой умел доставлять радость другим и радоваться их радостью.

Теперь можно лишь гадать о том, что помогло так пышно развиться непрестанным мыслям о смерти и так тяжело окрасить его жизнь. Думаю, что решительным толчком для этого было его детство. Жизнь за границей, смерть отца, брата, страх за жизнь умиравшей от чахотки матери, наконец, ее смерть. Переезд в Россию десятилетнего мальчика, даже не умевшего говорить по-русски. За долгую заграничную жизнь дела семьи запутались и уменьшилось ее благосостояние, порвались дружеские и

родственные связи. Запсельский родной дом был сдан внаймы, и началась для него пора скитаний по чужим людям, смена опекунов и прочие прелести. Только замужество сестры как-то стабилизировало его жизнь. Далее, с юности он много и часто болел: легочными болезнями, желудочными и до сего дня не изученными спазмами сосудов, выражавшимися в «потрясающих» многочасовых ознобах. Жить ему приходилось, превозмогая свои болезни, и он научился этому.

Чем дальше шло время, болезни его умерялись. На моей памяти он, конечно, часто болел, но болезни уже не доминировали в его жизни. Болел он очень толково, относился к болезни как к некоему мероприятию, которое надо провести как можно разумнее. К самим болезням относился иронически, и в процессе их страха смерти у него как не бывало. По-настоящему боялся он лишь холода и ознобов. О своих болезнях говорил так:

«Чудно получается, с возрастом все меньше болею, к смерти, вероятно, совсем выздоровлю»

Он всячески боролся с мучившими его мыслями о смерти. Одной из форм борьбы было его постоянное стремление лишить это понятие его «исключительности», придать ему некую будничность, так сказать, «придрессировать» и, если так можно выразиться, сделать обиходно-домашним. Что из этого получилось, — думаю, что ничего хорошего получиться не могло. Шопенгауэровские чудища, которые сторожат выход из жизни, едва ли поддавались дрессировке, выходит, что дрессировал он самого себя, и мысли о смерти все неотступнее, хотя и обыденнее, стояли рядом с ним.

Он завидовал людям религиозным, но сам мало надеялся, что «Вера» придет к нему. Формально говоря, он был неверующий, но так было лишь в грубом приближении, он стремился к вере, но препятствием было интеллигентское воспитание, окружающий позитивизм и все, сопряженное с духом эпохи. На компромиссы он ни в чем не шел, он был открытым и откровенным перед самим собой и другими. В вопросе о религии он разделял участь людей своего поколения.

Чехов в письме Дягилеву пишет: «С недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего».

Вокруг нашей семьи, особенно в моем детстве, чисто случайно было много религиозных философов. Эти люди были в общежитейском плане близкими друзьями моих родителей, но в вопросах религии дать папе ничего не могли. Я думаю, что их религиозность была для него подточена элементами профессионализма и публицистичности, а их философия была ему мало нужна.

Сталкиваясь вообще с верующими людьми, он всегда стремился извлечь из их мыслей что-то полезное, нужное для себя, но чаще всего наталкивался на стенку или малярное проповедничество.

Революция и большевизм швырнули русскую интеллигенцию в церковь, но с папой этого не получилось.

Мои жалкие попытки говорить с ним на эту тему успеха не имели, он спокойно до конца выслушивал все мои «за». Выслушав, говорил:

«Любопытно. Но для меня не годится».

И было явно, что ему моя болтовня даже «не любопытна».

У Бунина есть рассказ «В море», там приводится разговор двух людей, близких по возрасту и кругу к моему отцу. Один из героев говорит:

«Какая у таких, как мы с вами, может быть вера».

Очевидно, это вполне автобиографично, но едва ли тогда, в двадцатые годы, Бунин понимал, как страшна эта фраза. В ней слышится такая безнадежность неверия, какой у папы и в помине-то не было.

Папа все-таки надеялся обрести со временем веру и очень чувствовал, что без Бога голо и пусто и как-то уж очень нелепо на земле.

Вероятно, здесь уместна мысль столь чуждого папе Достоевского, что желание верить и не менее сильные сомнения в вере вполне могут уживаться вместе и что это уже и есть ВЕРА.

Умирал он от опухоли в головном мозгу, по происхождению раковой, умирал в течение трех месяцев, диагноз мы скрыли не только от него, но и от мамы. За время этого трехмесячного лежания у него постепенно отнялись рука, нога, затем и язык. Но душевные силы его не оставляли, он верил в жизнь, верил, что поправится и снова примется за свое дело. Рак, разрушивший его тело, до души добраться не смог. Мне, управляющему тогда всем этим медицинско-дипломатическим оркестром, приходилось изворачиваться и врать почти всем. И мне было и стыдно и страшно.

За месяц до смерти как-то ночью сказал мне:

«Ладно, верю, что это конечно не смерть, но года через три, максимум семь, помирать все же придется, а как я не готов к этому».

И опять я мысленно переношусь к красному тлеющему свету колченогого фонарика. Это было где-то в середине тридцатых годов; мы проявляем, какая-то затянувшаяся пауза, и, покуривая, пуская дым в красные лучи, папа, не глядя на меня, говорит. Говорит просто, как всегда, отрывочно, только кусочками,

временами поднимает брови, покусывает усы. Фабула весьма нехитрая — его последние дни и часы на земле, поведение окружающих, его смерть, последнее пребывание его тела в гробу до выноса в условиях коммунальной квартиры и так далее. Тема рассказа огромна: грандиозность самого события, называемого смертью, и жалкая, ничтожная, но всепоглощающая пошлость всего, что сопровождает этот акт.

Этот глубоко выстраданный в бессонные ночи рассказ произвел на меня оглушающее впечатление, и вовсе не потому, что сам потенциальный покойник его столь просто, спокойно, разумно и делово рассказывает. Рассказ раздавил меня своей художественностью, простотой, точностью, — в нем и запятой лишней не было. Потому я и не взялся его пересказать, мне такое не по плечу. Все-таки если бы меня спросили, каков должен быть по-настоящему хороший рассказ, я бы не задумываясь назвал именно этот, но написать такое никто никогда не мог и не сможет. Этот рассказ открыл передо мной основную истину, правда, настолько затасканную, что ее уже не видно и не слышно. Истина в том, что искусство определяется количеством выстраданного в нем материала и простотой изложения.

За сорокалетие, прошедшее с папиной смерти, он не только остался для меня живым, а, пожалуй, стал и более живым, и уж конечно более близким и понятным.

Он никогда меня ничему не учил и ни на что не наталкивал, но, если по совести, для себя я должен бы был кого-то назвать своим учителем, мне пришлось бы назвать именно его. Все остальные, кто старался активно меня учить, были досадными препятствиями на моем пути, их надо было лишь преодолевать или бежать от них, и то и другое мне трудно давалось.

Когда мне стаю более или менее ясно, чем я буду заниматься после средней школы, я довел до сведения родителей, что буду подвизаться на поприще изоискусства. Вскоре началась моя учеба у Павлинова, затем Вхутеин, потом халтура, потом у Фаворского в Изоинституте.

Поначалу папа к моему выбору отнесся с явным безразличием и даже, пожалуй, можно сказать, что занял в этом вопросе позицию выжидательную. Он думал, что я пошел по искусству, желая избежать кабалы нашей действительности, и, конечно, сочувствовал мне, желая, чтобы я хоть как-то избежал «рабства». Но при такой постановке вопроса меня как будущего художника он едва ли мог всерьез рассматривать.

Однако чем дальше продвигалась моя учеба, тем хуже становились мои успехи, скорее можно сказать, что успехов вообще не было. Было нудное, тяжкое, иногда нестерпимое

«отбывание срока» в чуждой для меня школе. Папа, конечно, очень и очень мне сочувствовал, но сочувствие это было с «соблюдением дистанции». В мои учебные дела он не вникал, тем более что Фаворский и все его присные были для ней) еще дальше, чем для меня.

Когда же он понял, что искусство стало единственной формой моей жизни, что закрыло собой все окружающее, словом, что «нет мне без него любви», здесь папа очень и очень насторожился. Смутило и обеспокоило его не то, что он просчитался, это в нашем деле сплошь и рядом случается. Испугался он просто за меня, за мое настойчивое стремление разбить о стенку собственную голову.

Искусство, ставшее столь исключительно делом моей жизни, выдвинуло на первый план для папы вопрос, а художник ли я и есть ли мне что сказать свое. Такой же мучительный вопрос, только по отношению к самому себе, стоял и перед ним когда-то в течение около двух десятилетий, и чем это пахнет, он понимал. Вот это его и пугало, ведь он прекрасно знал, что заниматься искусством и быть художником — это отнюдь не одно и то же. Может казаться, что грань эта не очень отчетливая, но это неверно, можно ошибиться, можно сразу не увидеть, но рано или поздно грань эта проступает, и роль ее решающая. Вопрос об этой грани стоит во многих видах искусства и литературы, резче всего она видна в поэзии. Изоискусство в этом смысле стоит следом за ней, здесь также нет ничего извиняющего и ничего объясняющего. Здесь есть или «да», или «нет». При этом масштаб этого «да» может быть весьма различен, от крохотного ручейка до огромной реки.

В этом «да» заключено нечто до того первостепенное, что все остальное, включая судьбу и удачу, по сравнению с этим мелочь, даже величина масштаба, даже это — дело вполне третьестепенное.

Вопрос о наличии у меня этого «да» его, конечно, тревожил. Об этом он никогда прямо не говорил, только внимательно, искоса, исподлобья поглядывал на мои работы, поглядывал и молчал. Общеупотребимых измерений он не признавал, у него были свои мерки, мерки, выверенные его тяжелым рабочим путем.

Наконец, кажется, это было в тридцать пятом году, он взял пейзаж, который я безуспешно писал все это дождливое лето. Отнес его к себе в мастерскую, обрамил и там повесил. Я с удивлением спросил:

«Зачем это?»

И получил ответ: нужно.

«Да зачем нужно?»

Папа формовал из гипса какую-то дощечку. Оторвавшись от работы, взглянул на меня исподлобья невидящим рассеянным взглядом, сказал:

«Это нужно мне, для себя. Теперь я уже знаю, что художником ты будешь во всяком случае. Каким — не знаю. Это как Бог даст, но настоящим. Так-то вот, брат».

Он вздохнул, передернул плечами и, снова принявшись формовать, не глядя на меня, добавил:

«Так что если случится помирать, то теперь хоть в этом пункте мне не так страшно будет».

Глава III

Во всех направлениях по арбатским тротуарам движутся люди, они текут по Арбату и растворяются в бесконечных кривых переулках и улицах приарбатского царства. Арбат — столица этого царства.

На Арбате и в его провинциях — чтимые москвичами церкви, и служат в храмах этой страны священники, осмотрительно, с великим тщанием подобранные. Здесь надо соблюдать осторожность, это тебе не Замоскворечье и тем более не Таганка, тут одним благолепием не обойдешься. Здесь искони русская интеллигенция густо загнездилась. Простой народ, он везде на Руси одинаков, особых хлопот с ним нет, а с этими — держи ухо востро. Церковь в большинстве из вежливости раз, много два, в году посещают, к служителям церкви с дворянским ироническим высокомерием относятся. Кто бы ни были они по своему социальному происхождению, но по воспитанию, по духу деды их наверняка лягушек резали, отцы в интеллигентской «разумности» потонули, а сами они уже ни в чох, ни во вздох не верят. Народ этот все образованный, по переулочкам профессуры московской не сочтешь сколько понапихано. Еретического разноверия здесь не оберешься, а равнодушия, даже без подковырки, без насмешки, полнейшего равнодушия к церкви здесь больше, чем где-либо.

Ну как обыкновенному, заурядному батюшке с таким народом управиться, здесь нужен выдающийся, такой, который как человеческая личность уважение вызывает, и уж конечно образованный и дипломатичный. Такой, который на толстовские темы поговорить бы мог, и Ренана читал, и о Владимире Соловьеве слышал, и хоть знает, кто был такой Ницше.

Трудно, конечно, такого батюшку, подходящего по всем параметрам к приарбатью, найти, подбирали все же хоть приблизительно годного. И были среди них такие, кто плотно

врастал в это разнодумное разномасгье и становился своим, дружественным, даже уважаемым и чтимым.

Я помню Арбат, когда его двухэтажие нарушилось возникшими в разных местах высокими многоквартирными домами. При теперешнем однообразии улиц архитектура этих громил кажется искусством.

На Поварской, на Пречистенке и Остоженке почти нет магазинов, а Арбат, от Смоленского до самых Арбатских ворот, закован в броню магазинных вывесок. На Арбате движение: по улице два трамвая идут — четвертый, связывающий Дорогомилово с центром и уходящий к самой Каланчевке, и семнадцатый, делающий вначале тот же путь, только от Брянского, а в центре поворачивающий на Лубянку и уходящий вдаль, за Сухаревку, до самого Виндавского.

Трамваи визжат и звенят пронзительно громко, так громко, что бесцеремонно слышны в тишайших садах при особняках-развалюшках в глубине арбатских переулков.

Трусят по Арбату извозчики на клячонках с обреченною мордой, изредка среди них проносятся собственные выезды, отчаянно гремят огромные ломовики. Зимой заснеженная мостовая покрывается сетью разъезженных полозьями арабесок, черно-бурых, отороченных серой пеной.

Против самого Спасопесковского стоит неизменно городовой в мундире с медалями, борода лопатой, сверхсрочный гвардейский солдат, нянин знакомый. Ему по великим праздникам на кухне на серебряном подносе серебряную чарку водки да пироги прислуга подносит. Он знает здесь всех и все, и его благодушная монументальность здесь не случайна, он оплот порядка этой местности.

По Арбату много разного люда проходит, разнообразие такое, что с позиции сегодняшнего дня кажется невероятным. Среди мешанины этой есть и нищие, есть такие, что всегда на одном облюбованном месте стоят, а есть и дрейфующие: идет-идет и вдруг у кого-то попросит. Это все, конечно, профессионалы, толк знают, просят у кого надо. У среднего сословья просить не будут, тут на отповедь нарвешься, дескать, «на всех не настачишься». Простая баба, та, может, на Божье дело и от единственного рубля копейку отделит. Можно просить у настоящих господ, эти, если заметят, дадут. Вот идет красавец генерал, хорошо знакомый приарбатью. У него проси смело — не только даст, но еще и руку пожмет участливо: дескать, ты человек и, значит, мне брат, и даю я не от пренебрежения, всякий в беду попасть может.

По Арбату много прислуги ходит в платках, с сумками, плетенными из соломы, приказчики из магазинов и лавок,

мальчишки услужающие — те бегом, ремесленники всяческие, их в приарбатье тьма-тьмущая, девчонки-белошвейки, модистки, у этих свои повадки. Разносчики всех родов, такие, что лоток на голове носят, и такие, что перед собой на привязи, на ремнях от шеи к поясу.

Татары с маниакальным «шурум бурум» («старье берем»). Китайцы, с длиннейшими, чуть не до пят, косами, в шароварах, на голове — круглая шапочка, проскальзывают с быстротой удивительной. У них в мешках нежнейшая чесуча и дурацкие пестрые картонажи.

Много здесь разного люда, всех не перечтешь.

Улица к ним обращается по стандарту, но с градациями точнейшими: «куда прешь, скотина», «эй, тетка», «эй ты, любезнейший» или «полпоштенный», далее «мамзель» и даже «мадама» и так далее. Словечки эти исконные, точные, изобразительные.

Между этими всеми и теми, кто в господском платье, пропасть такая же, как у допетровской Руси с послепетровской. Этих на Арбате не меньше, чем простонародья. Но улица точно знает, что это не настоящие господа, а так, «ни то ни се», вроде как средний класс приарбатья.

Все эти мигом определяются улицей, и соответственно этому звучат обращения, начиная с «па-азвольте, уважаемый» и далее «сударь», «сударыня», «мусье», «милостивый государь», «вашескородие», а далее — стоп, никаких обращений. Это уже другой мир, мир настоящих господ, и по неписаным законам, и даже не по изустным, а просто так, по инстинкту, к ним никто, кроме нищих, не обратится. Как ни гляди «ровней», как ни прячь свою принадлежность к этому миру настоящих господ, ничего тебе не поможет, никого не введешь в заблуждение. Улица распознает сразу, впрочем, ей и распознавать ни к чему, только взглянет — и изоляция тебе, ко всеобщему благу, обеспечена.

По старым описям распределения «по приходам» явствует, что еще с восемнадцатого столетия московские культурные семьи начали тяготеть к Арбату и его близлежащим переулкам и улицам. Разночинной интеллигенцией их не назовешь, скорее разнородной и разноимущественной. Здесь жили прямые потомки Рюрика и Гедимина или исконных бояр московских, помещики самых разных губерний, разорившиеся или кое-что сохранившие, потомки вышедших в люди «по кресту», чаще всего иноплеменников, но давно обрусевшие, потомки купечества русского, потерявшие связь с этим сословием, люди «колокольного» происхождения, иными словами, вышедшие из семинаристов, люди, незапамятно давно выкрестившиеся из татар

или евреев, выкресты недавние и просто некрещеные, потомки людей, чьи имена числятся в святцах русской интеллигенции, и просто старые профессорские семьи, люди, во втором, а иногда и в первом поколении вышедшие из народа, но плотно об этом забывшие. Были среди них люди, обладавшие солиднейшей материальной базой, люди, обладавшие только еле-еле достаточной, наряду с ними — люди, не имевшие никакой базы, кроме своего ума или таланта, и такие, что ничем, кроме познаний, похвастаться не могли. Все это вместе и составляло пеструю семью московской интеллигенции. По традиции, большинство этой публики совсем бескорыстно интересовалось народом, его нуждами, стремилось елико возможно служить ему и в служении этом видело свое призвание. Народом этим и была та самая улица, которая от них китайской стеной весьма разумно отгораживалась. Доигрались, добаловались русские интеллигенты до того, что пришлось этой самой улице царствовать, и пошла она крушить что ни попадя, и от культуры российской ни рожек ни ножек уже нет. Улице от этого никакого проку не получилось, какой была, такой и осталась, только к чести ее следует сказать, что подобный результат она-то инстинктом предвидела.

А самой «соли земли» обижаться совсем невозможно, ведь улица предупреждала незадачливых интеллигентов издавна.

Но вернемся опять в те баснословные времена.

Этому приарбатскому муравейнику много чего было нужно, потому-то чуть не все первые этажи домов были на Арбате заняты магазинами, лавками и лавчонками, потому-то как в сбрую одели они Арбат поясом кованых вывесок. Несмотря на близость Смоленского рынка, торговали здесь самыми различными съестными припасами, торговали добротные и знаменитые фирмы, торговали и одеждой, и материями, и аптекарскими товарами, и писчебумажными, и игрушками, и посудой, и книгами, и многим другим. В чудесном старинном доме строжайших пропорций поместилась изуродовавшая его «Прага», как говорили, самый приличный и респектабельный ресторан Москвы.

На Арбате едва ли не лучшие кондитерские магазины, и не в том дело, что они очень хорошие, а в том, что к потребностям приарбатья они идеально приспособлены. Например, Абрикосов не откроет же здесь своего магазина, потому что он знает, что коренные местные ничего, кроме пастилы, у него покупать не будут, не откроют ни Каде, ни Трамбле тут своих магазинов, но уже по совсем иной причине. «Каде» и «Трамбле», вероятно, лучшие кондитерские того предреволюционного времени, там все

ультраизысканное, там все новинки, а элегантность и добротность подачи лучше не выдумаешь, но Арбат ведь не место для фланирующей публики. Арбат — чрево приарбатья, его кладовка.

Не станет абориген покупать на Арбате ни вин, ни духов, ни белья, ни фарфора, ни цветов или вообще чего-то сверхособенного, для этого существуют другие места, как Петровка, Столешников и Кузнецкий, а здесь, на Арбате, — лишь ежедневно необходимое.

Такова основная артерия этой местности, а в переулках здесь тихо, сады и закоулки глушили здесь рокот города. Приглушенно долетают сюда визги и звоночки трамваев, редко процокает извозчик или залязгают по булыжнику мостовой железные ободья на колесах ломовиков, тишину нарушают здесь лишь заученные как заклинание, лишенные выражения, однако памятные на всю жизнь крики разносчиков, лай собак и редкое переругивание прислуги — вот и весь шум этих мест. Птицы своим разноголосьем наполняли сады и вносили в переулки совсем особую нотку, не городскую и не деревенскую.

Хотя пятиэтажные громилы залезли и в приарбатские переулки, потеснили особнячки, поприжали сады и дворы, но окончательно вытеснить их не сумели, и приарбатье так и осталось в основном особняковым. Громилы были весьма различными, с квартирами на всякие цены, и были среди них очень хорошие, а всякой «сервисной» цивилизации было в них весьма много. Заселялись они в основном все тем же интеллигентско-арбатским контингентом, так что экспансия громил мало меняла дух приарбатья. Особняки еще в восьмидесятых годах прошлого столетия пооблезли, потеряли былую красу и выглядели коробочками «без особых примет». Только дворовые постройки, основательные, громоздкие, многочисленные, говорили о прошлой широкой и лучшей их жизни. Зато внутри этих домиков было вполне неожиданно хорошо, комнаты были большими, просторными, светлыми, голландские печи были обложены белым сверкающим кафелем, паркеты на полах наборные, иногда даже роскошные, на потолках лепнина, двери дубовые, с медными, вернее, бронзовыми ручками. Часто в таких домах бывал антресольный этаж с маленькими уютными комнатками и часто такой же мезонин. Обитатели этих маленьких, а иногда и больших особняков семьи имели весьма малочисленные, но почему-то всегда считали, что комнат у них недостаточно.

Между тем эти прекрасные комнаты производили впечатление пустоты, удивляли случайным подбором обстановки,

а сама эта мебель, как и все внутри в подобных домах, была из рук вон плоха. Интеллигентское равнодушие к быту, а иногда и презрение к нему, делало красоту этих комнат вполне никчемной. Очень редко среди этого сброда и хлама можно было совсем неожиданно увидеть какое-нибудь старинное бюро красного дерева и над ним портрет в позолоченной раме. Это дань прошлому, реверанс в сторону покойной прапрабабушки. Сохранилась она чисто случайно, агитация «Дягилевых и ко» глухо докатилась до арбатских провинций, но все же в результате ее старушка сподобилась висеть у потомков не на задворках, а вполне прилично. В изустных семейных преданиях запомнилось лишь, что писана она знаменитым художником, а как ее звали, никто не помнил, как не помнили имя художника, называя наобум единственно популярное — Боровиковский. «Дедушки и бабушки» встречались здесь как исключения, пустыня комнат компенсировалась их идеальной чистотой и надраенностью.

В огромной комнате, очевидно, когда-то это был зал, — несколько стульев, купленных на Сухаревке, и обязательный рояль, хорошо еще, если там стоят мягкие кресла, крытые немыслимым кретоном. В кабинете — клеенчатый диван, книжные шкафы, безликий письменный стол, и всюду пустынные стены. Только где-то совсем нелепо, сбоку и ни к чему — какая-нибудь репродукция вроде репинского Толстого на молитве, или увеличенная фотография Чернышевского, или еще черт знает что.

Между тем жили в этих особняках, говоря относительно, на широкую ногу, большой штат прислуги имели, держали повара, принимали у себя широко и радушно, да и сами бывали повсюду. Знакомых, самых различных, тьма-тьмущая была, и уж обязательно бывали на премьерах в Художественном, не забывали и «Летучей мыши» и новаторов, бывали на вернисажах, на лекциях, чем-либо исключительных. В литературно-художественном кружке и много где еще, а некоторые — даже на заседаниях Религиозно-философского общества у Маргариты Кирилловны Морозовой.

При этих особнячках были большие дворы и самые разнообразные сады. Были они и совсем маленькие — так, одно корявое дерево одиноко торчит, и сады побольше — с кустами сирени, жасмина; были такие, при которых и огородик был, и даже на нем клубнику выращивали, и уж обязательная грядка с пестрыми головками мака; но были и совсем большие — с аллеями лип, старых, густых, с шапкой тенистой листвы. Сады эти упирались в заборы других садов, при которых довеском существовал такой же задрипанный особнячок, выходивший фасадом уже в другой, соседний переулок.

С начала двадцатого века финансовые магнаты России стали облюбовывать приарбатье, и то там, то сям появились их роскошные особняки, часто очень хорошей архитектуры. Внутри отделаны они были очень шикарно, а иногда и по-настоящему, на редкость красиво. Внутренняя отделка домов постепенно возводилась в ранг искусства, и рождались уже по этой части специалисты-художники.

Особняки эти заняли положение дворцов екатерининских и александровских вельмож, доживавших свою жизнь в Москве. Дворцы вельмож, принадлежавшие худородным потомкам, перешли в большинстве своем в казну, а те, что остались у своих настоящих владельцев, так изуродовались, так обветшали, так пострадали от судьбы, и от времени, и от безграмотных перестроек, что дворцами их на смех не назовешь.

Вот и выросли новые дворцы новых людей, ну куда же было с ними тягаться прелестной, правда, огромной усадьбе наших соседей Лобановых-Ростовских с нелепым, изуродованным домом, скособоченным, падающим, с большим садом, украшенным заржавленными чугунными статуями флор и цирцей и еще неизвестно кого. По сомнительным преданиям, именно там жила Ирина из «Дыма». Ну а новым дворцам предание, пожалуй, уже ничего не припишет. Тем не менее и новые, и старые, и даже громилы — все очень дружно сжились в приарбатье.

В переулках этих было много собак, хозяйских, чистокровных, в ошейниках с номерами и даже медалями, дворницких, упитанных, сильных, но весьма ограниченных. Однако больше всего было там бездомных, бродячих. Где они ночевали, это их секрет. И чего только среди них не было, сбор всех частей и мастей — результаты переулочных собачьих романов. Я очень хотел бы о них написать, но вспомнил, что Бодлер сделал это задолго до меня.

Милое племя бездомных псов, моих старых друзей, тебя уже нет, как нет уже ничего из того, о чем я пишу.

Таково было мое приарбатье, мое детство прошло в его переулках, церквах, в прицерковных скверах, в его особняках, дворах, садах, квартирах многоэтажных домов.

Именно там, еще задолго до моего появления на свет и до полного духовного вырождения этой местности, жила наша семья. Именно там над нами прогремели и отгремели грозы, бушевавшие до середины пятидесятых годов, до времени, когда нас оттуда выперли, именно там нам довелось почувствовать себя чужаками. Теперь, когда я изредка, раз-два в году, попадаю туда, я встречаю лишь географическую точку, лежащую как раздавленный червяк у изножья совсем непонятной мне жизни.

Мои родители поженились в девятьсот первом году, и тогда, очевидно, сложилась та форма жизни семьи, которой она продолжала жить органически в различных условиях и наперекор всему. Темп и характер разбега, взятого еще на рубеже века, продолжал ощущаться в условиях катастрофических катаклизмов, в условиях немыслимого быта. Время, в которое протекала наша жизнь, стремилось согнуть в дугу, изуродовать, растоптать нас. Между тем что-то сильное, упругое, что было стержнем нашей жизни, опять распрямляло ее.

Скульптор Марина Давыдовна Рындзюнская говорила, что для нее наша семья всегда ассоциировалась со впечатлением от тех книг, которые ей дарили еще в детстве на праздники. Книг в тисненых нарядных переплетах, книг с золотым обрезом, с хорошими иллюстрациями, книг интересных и праздничных. Об этих словах Марины Давыдовны мне рассказывали люди даже мало знакомые. Сам характер подобного сравнения типично художнический; в иной форме, но по существу такое же, мне доводилось слышать и от совсем других по типу людей.

Сам я не могу увидеть нашу семью, ибо я часть ее, думаю, что в основе характера этой жизни лежала ее полнокровность, праздничность жизненного обихода, приветливость, терпимость и то, что к нам всегда и надолго приживались самые различные люди, становясь со временем неотъемлемой частью жизни нашей семьи.

По-видимому, этот организм был крепко запаян и ладно сконструирован, ведь ему почти без передышек пришлось стоять всегда против шквала. Революция, голодовка, беспросветное безденежье, чуждость доминанте окружающего мира, защита от его волчьих зубов, смерть моего отца в тридцать девятом, потом опять война, опять голодовка, еще худшее безденежье, смерть мамы в пятьдесят восьмом году, а затем тут же разыгравшийся страшный недуг Оли, страдавшей им подспудно с юности, болезнь, искалечившая ее жизнь и уродующая нашу, и ко всему этому — маленький довесок в виде непонятного проклятия, тяготевшего годами над моей художественной репутацией, перешедшего ныне в почти полное забвение меня как художника, но это уже совсем мелочь И все-таки, несмотря ни на что, что-то осталось от разбега тех далеких времен. Осталось, понятно, очень уж мало, я единственный стародавний, еще вполне действующий персонаж этого организма, естественно, что я морозные узоры на окне готов принять за подлинные предметы. Но если я прав и что-то осталось, то малая эта частица старого стиля жизни, живущая теперь в уже совсем другом мире, еще более чужеродном, нуждается в таком бережении, которое ей и обеспечить-то

невозможно.

Стиль и характер жизни столь малого коллектива, каким является семья, никакой сознательной консервации не подлежит. Если вспомнить историю семей прошлого столетия, семей близкого мне по «роду и племени» помещичьего сословия, то видишь, как время меняло, разматывало, коверкало этот стиль, уничтожало даже всякую преемственность поколений. Уничтожало когда по воле, а когда и против воли заинтересованных лиц. Попытка остановить разрушение даже чего-то несомненно хорошего превращалась неминуемо в уродство.

Если так было в сравнительно тихом девятнадцатом веке, то что же ждать от нашего века, века столь бурных катастроф. Можно смело сказать, что если хоть микронная доля сохранилась от той ушедшей навсегда жизни, можешь причислять это к разряду чудес.

Глава IV

Сердцевиной жизни нашей семьи был папа и его работа, светом жизни семьи —- мама, а я — довесок. Я жил на отлете, в своей детской с няней и в своем собственном мире. Для того чтобы приблизиться к миру взрослых, одного волевого акта было недостаточно, нужно было еще понять хоть как-то этот мир. Моя духовная инициативность обязана этому положению «довеска».

Все веселое, нарядное, красивое сосредоточено было в маме. Боже, сколько в ней было жизни, сколько жизненной радости. Она была очень красива, говорят, что была одной из красивейших женщин своего времени. Мне самому трудно судить, а тем более говорить о ее красоте, ведь красота эта была постоянной, привычной частью того мира, в котором я жил. В детстве и юности я принимал ее как нечто должное и потому не очень-то видел эту красоту. Теперь же могу сказать твердо, что ее красота была редкостная, светлая, радостная, все вокруг озаряющая.

Ее внешность была так связана с ее человеческой сущностью, с ее характером и даже со сравнительно второстепенными чертами, как с движениями, звуком голоса, таким ясным, что даже разрушительная сила времени основательно искорежить его не могла.

При всей многогранности ее натуры она была на редкость цельным человеком.

Папа говорил:

«Мать — кремень».

Мама была очень умным человеком, точнее сказать, мудрым.

Ее мудрость была во всем, в умении подойти к любому вопросу просто, в умении отделить главное от второстепенного и во многом другом. Мудрость была в ее легкомысленном отношении к денежным практическим вопросам, ежедневная тяжесть которых лежала на ее плечах. Не будь этого легкомыслия, едва ли бы мы могли существовать. У нее напрочь отсутствовало честолюбие в любой его форме. Понятие «табели о рангах» было ей абсолютно чуждо. Люди прилеплялись к ней, хотели видеть в ней друга, видели в ней друга только на основании того, что общение с ней им много давало, она же ни в чьей дружбе сама не нуждалась. Только терпеливо сносила чужую.

Жизненные невзгоды, безденежье, голодовку, уплотнения, выселение и прочее она принимала по-деловому, как новые беды, с которыми надо бороться.

В трудные времена она шила на заказ, преподавала иностранные языки, особенно английский, которым владела едва ли не лучше, чем русским.

Энергии у нее было хоть отбавляй, и вся она была направлена на создание радости ежедневного бытия.

Она была из тех, кто по природе своей не ведает страха. Даже смертоносные страхи большевизма не сумели отравить ее.

Боялась она лишь болезней своих близких, вот тут она пасовала, пугалась когда нужно и когда не нужно, даже сердилась от отчаяния. Сама же никогда ничем серьезным не болела.

Ее дурного настроения никто не видел. Придут тяжелые мысли — тряхнет головой и словно впрямь их стряхнула.

Красоту предметного мира она понимала, а в некоторых ее областях разбиралась весьма толково. Вещи явно любили ее, но любовь эта была неразделенной, ее отношение к ним было чисто утилитарным. Она привыкла жить в окружении красивых, дорогих, а подчас и редкостных вещей. Окружение это было настолько для нее привычным, что едва ли она над ним задумывалась. Все, что было вокруг нее, пришло к ней само собой, ее роль заключалась лишь в отборе и распределении. Каким-то, казалось, колдовским способом она совсем без усилий создавала из этого предметного мира такие сочетания, что быт, ежедневный быт, наполнялся легкой веселой радостью.

Однако нетрудно было заметить, что любимых вещей для нее не существовало, она расставалась с любым предметом без всякой жалости. В этом сказывалось не ее равнодушие к вещам, а открытая нелюбовь к ним. Впрочем, она этого и не скрывала, говоря:

«Терпеть их не могу, отвратительно то, что они переживают людей».

Мама совершенно инстинктивно верила лишь во все хорошее, светлое, радостное в жизни и скорее всего полагала, что все другое хотя и существует, но «не про нее писано». Ее непоколебимой вере в жизнь противоречила сама наша жизнь, и все свои силы она направляла на борьбу с этим столь отвратительным для нее противоречием.

Мы все, ее близкие, с завидным упорством подтачивали ее оптимизм — дерево, на котором сидели, — но вряд ли нам удалось сделать это основательно.

Любопытно, что она искренне считала себя человеком бесталанным, и действительно, в тех областях, в которых проявляли себя окружающие ее люди: художники, писатели, философы, ученые и так далее, — у нее особых ресурсов не было. Между тем на практике оказалось, что умела она делать буквально все, что жизнь от нее требовала, а она, эта самая жизнь, ставила словно нарочно почти немыслимые задачи. Маме же и в голову не приходило, что столь бесстрашная готовность решать эти задачи — это тоже особая форма таланта.

Папа как-то сказал мне:

«Знаешь, есть очень редкий тип людей, у которых все качества пропорционально сгармонированы. Вершина этого типа — Пушкин. Вот в характере матери есть это поразительное равновесие всего. Без понимания этого ее не раскусишь».

Мама интересовалась всеми видами духовной деятельности, находившейся в поле зрения того круга, в котором она жила. Круг же этот, во всяком случае до революции, чем только не увлекался, каких влияний не перенес, но таково уж было ее устройство, что свою независимость она полностью сохранила. Ведь молодость ее совпала с расцветом символизма, модерна, с нарождением всяческих новых «измов», она же всему этому оставалась абсолютно чужда.

Умение слушать собеседника, слушать с подлинным интересом, дано не всякому, это дар. На моем пути лучшего слушателя не было, и это же я слышал и от других людей. Естественно, что ей любили рассказывать, делиться с ней мыслями. Ее собеседниками часто были знаменитые соловьи своего времени, глашатаи или создатели нового, результатом же разговоров с ними для мамы было не вполне удовлетворенное любопытство и легкое разочарование, никогда, впрочем, не переносившееся на собеседника как человека.

Мама всю жизнь до самой смерти очень много читала, знание языков давало большой простор для этого дела.

Весьма сложным было ее отношение к изобразительному искусству. Все прямые, «чистые», бескомпромиссные проявления

изоискусства ее абсолютно не интересовали, а по воле судьбы ей пришлось прожить всю жизнь среди людей, для которых именно это составляло единственный смысл в жизни. Ей пришлось быть активным помощником, а следовательно, и соучастником в деле, ей абсолютно чуждом. Неудачами, сомнениями, трудностями была наполнена жизнь не только горячо ею любимых близких, то есть нас, но и тех художников, с которыми наша семья была связана. Удивительно, что, несмотря на ее безразличие к этому несчастному искусству, именно она как никто умела поддержать его «служителя», вселить в него бодрость простым, самым ничтожным разговором. Слишком уж много в ней было заложено энергии и веры в жизнь.

Равнодушная к самому предмету искусства, она принуждена была всю жизнь видеть его изнанку. Изнанку тяжелую, трудную, составляющую почти непосильное бремя, Что же удивительного в том, что с годами мама стала смотреть на искусство как на некую опасную стихию, калечившую жизнь ее близких.

Своего безразличия к искусству она не афишировала, но на прямо в лоб поставленный вопрос отвечала правдиво.

Папа, посмеиваясь, говорил:

«Ну, искусство и отомстило матери. Ничего не скажешь, круто с ней обошлось. Уж таково это дело, неуважительного отношения не терпит».

Я знаю, что не сумел описать маму, трудна она для изображения. Недаром же ни у кого не получался ее портрет, ни в живописи, ни в скульптуре.

Двадцать четвертого ноября старого стиля, а по новому седьмого декабря, Екатеринин день, мамины именины. С утра звонят входные звонки, это рассыльные из магазинов. Пакеты, завязанные красивыми лентами и шпагатом, холодные с мороза, чего в них только нет, и в каждом обязательно — визитная карточка дарителя. В пакетах — коробки редкостных конфет в еще более дорогих коробках, кожаных, лакированных или обтянутых кустарной набойкой. Торты, сделанные по специальному заказу в совсем неведомых местах. Ни подобных тортов, ни подобных конфет в больших магазинах не найдешь. Такое бывает лишь в какой-либо лавчонке-«дыре», в переулках арбатских, да и то лишь для постоянных покупателей.

А вот огромные многоэтажные корзины с фруктами, увенчанные ананасом, а из-за гроздей винограда, из-за огромных груш, апельсинов, как жерла орудий, вылезают бутылки редких вин. Все это сооружение перекручено шелковыми лентами всевозможных цветов. Это, конечно, не редкость, такое можно заказать и у Елисеева. А вот совсем простенькая плетеная

коробка, а в ней свежая земляника, это московской-то зимой, в декабре, это, конечно, уже редкость.

Наконец, цветы, это самое замечательное. Корзины сирени, деревца, усыпанные гроздьями белых и лиловых цветов. Огромные, с детскую голову, шары хризантем. Корзины роз, белых, темно-красных, а под ними нежнейшие цикламены. Далее низкие, сплетенные из прутьев, темные, наподобие скошенных пирамид корзины, и в них — заросли ландышей, их запах зимой пробирал меня до лопаток.

В столовой стол раскрыт на все доски, сверкает убранством. С часу начинают приходить визитеры. Это те, кто дома своих именинниц имеет, или те, кто в этот вечер занят, или те, кто пока еще мало знаком или знаком чисто официально с нашей семьей.

Мама, как всегда, весело, оживленно принимает гостей. Папа в сюртуке отправляется поздравлять других Екатерин, он должен вернуться к обеду и переодеться опять в пиджак.

К вечеру гости. Я собрался было перечислить имена тех ушедших в вечность, людей, которых помню, но понял, что это бессмысленно. Многих я вообще не помню, кого-то, вероятно, позабыл. Я помню эти именинные сборища только вначале, потом меня уводили спать, и приход поздних гостей был уже не в поле моего зрения.

После революционного вакуума восемнадцатого—двадцатого годов даже и половины привычных гостей досчитаться было нельзя, растаяли они во времени и обстоятельствах. Однако на их месте появились новые, и общее количество скорее увеличилось, так тянулось годами и десятилетиями.

Но возвращаясь к тем «баснословным годам», вспоминаю, что лучшими днями для меня были послеименинные, когда царствовали в столовой цветы, предвещая завтрашнее счастье.

В художественной среде предреволюционной Москвы эти два зимних месяца, декабрь и январь, были радостными и напряженными, именно на протяжении их открывались основные выставки. На них как бы подводились итоги годовой деятельности, отсюда радостная напряженность этих дней. Вернисажи как бы окружали Рождество, праздник по своему характеру совсем особенней. Праздник, в котором из-за ветвей украшенной елки проглядывает само счастье. «Елка», как много хорошего дала она мне, и не только в детстве. Мама не меньше меня любила «елку».

Я больше всего любил не само торжество праздника, а подготовку к нему. Мама с увлечением выискивала хорошие, редкие украшения, мне, к сожалению, мало пришлось сопутствовать ей в этих поисках. Все же кое-что мне довелось

увидеть: то, что показал нам в закрытых для публики помещениях «Кустарного музея» Николай Дмитриевич Бартрам, об этом и рассказать невозможно. Это был мир русской лубочной, ремесленной фантазии, пусть даже эта фантазия теперь сильно отдает «модерном», все равно тогда это была сказка.

Не менее прекрасным был и нижний зал «Мюра», весь отданный под елочные украшения; сложенные на длинных столах, на прилавках, развешанные по стенам, они ошеломляли своим праздничным сверкающим великолепием. В отличие от кустарного здесь было все заграничное. Возможно, что здесь было меньше художественной изысканности, но зато здесь было больше западного бездумного веселья и радости. Больше разнообразной выдумки и фантазии, направленной на ощущение счастья и легкости.

Наряженная елка существует лишь для тех, кто может упиваться чужой фантазией, и стоит ли описывать все сопряженное с ней. Кто любит среди холода зимы, среди города, занесенного снежными шапками, огоньки свечей, и разноцветный блеск украшений, и мерцание канители, тому это и без слов понятно. Как понятны и мы с мамой, нагруженные коробками, когда, застегнув полость саней, мы едем домой на попавшемся ваньке по зимней, снежной, вечереющей, предпраздничной Москве.

В детстве зима избывалась удивительно быстро, глядишь, и уже Вербная суббота. Зима как-то сама собой уходит из-под ног, уходит, как кораблики из бумаги, бегущие по ручьям вдоль московских тротуаров. Далее — ни с чем для меня не сравнимая трогательность церковных служб на Страстной неделе и наконец Пасха, величайший из православных праздников. За спиной его горного кряжа — лето, зеленое счастливое лею.

Первый день праздника стол опять открыт на все доски, заставлен пасхами всех сортов, куличами, кренделями, адампольский окорок лежит на блюде, в горшках стоят гиацинты. В воздухе запахи очень сложные, если их разложить, это пряности, запахи гиацинтов, очень тонких духов и хорошего табака.

Мама оживленно что-то говорит, перед ней, откинувшись в кресле, с рукой, заложенной за жилет, с откинутой назад головой, — Сергей Михайлович Волнухин. Он в элегантнейшем сером костюме, поза картинная, но для него естественная. Красив — загляденье. Именно таким я хочу, чтобы он жил в моей памяти, пепельно-серый красавец.

В разные времена дома я слышал совсем для меня неинтересные разговоры про «чехарду министров», про слабость правительства, про корыстолюбие чиновников, наконец — радость по поводу убийства Распутина. Потом в иллюстрированном журнале увидел фотографии всех членов Совета министров, и стало все это уже интересней, еще позже увидел там же портреты министров Временного правительства во главе с красивым князем Львовым.

Сколько помню, еще в зиму шестнадцатого года случались забастовки, потом, при Временном, они участились. Тогда на улицах можно было встретить демонстрации с лозунгами. Иногда звонили по телефону и сообщали абонентам, что завтра с такого-то по такое-то не будет электричества — забастовка. К этому быстро привыкли.

Однажды мы с мамой направлялись в Столовый переулок, месили весеннюю слякоть на Мерзляковском. Навстречу нам шла разноперая толпа, шла нестройно, заполняя собой мостовую и тротуары. На них были красные банты, несли они красные флаги и лозунги и пели ставшие уже привычными песни. Толпа состояла в большинстве из молодежи в технической темно-синей форме и в форме полувоенной, то есть на что-то сугубо штатское была надета военная шинель. Они были молоды, впереди была календарная весна и, возможно, та не календарная, о которой им пророчили уже столетие интеллигентские витии, «сеятели доброго, вечного». Их молодость совпала с небывалыми историческими событиями, и потому они были веселы, радостны и возбуждены.

Я спросил:

«Что это, опять забастовка?»

Мама ответила кратко:

«Ну нет, это уже революция».

И по ее сдвинутым бровям и твердому взгляду в пространство

понял, что в революции ничего хорошего нет.

На Пречистенском бульваре студенты-агитаторы раздавали красные бантики с бумажным портретом Керенского, нацепили и мне. С таким украшением я пришел домой. Мама мигом его сорвала, сказав:

«Чтобы этой мрази в доме нашем больше не было».

В столовой на красном кожаном «капитоне», диване, сидит очень милая гостья. Она говорит:

«Он ехал в открытой машине, его буквально засыпали цветами, пришлось остановиться, и он с машины произнес речь. Он был великолепен».

Мама слушает и молчит. За обедом передает разговор папе и добавляет:

«Ведь она же не дура, и вдруг такое. Что со всеми случилось?»

В расцвете весны мы уже опять в Адамполе. Там за парком был небольшой овражек, заросший рябиной, в глубине его еле-еле пробивался ручеек. Мы — мама, я и Леля, двоюродная сестра, — поднимаемся по тропинке овражка и выходим из его тени на простор полей, идем по меже среди хлебов. Я иду последним, со мной две здоровых собаки, ну как им упустить случай пошляться. Небо светлое, легкие облачка, усатые колосья треплются ветерком, синие васильки лезут на межу. Боже, как это хорошо. Как хорош этот мир.

Дома оказывается, что нас ждет гость, сосед-помещик, отставной артиллерист, и его сын, студент-математик. Сосед приехал по делу, но это всего лишь повод, настоящая причина — одиночество, неизвестность, жажда поговорить. Брусиловское неудачное наступление лучшую часть культурной молодежи погубило на поле брани. Фронт постепенно разваливается. Разговор, как почти всегда в эти дни, переходит на политику. О Временном говорится, что это просто «адвокатишки», говорится, что буржуазия пытается справиться с революцией за счет помещиков, и так далее.

Студент, посмеиваясь, говорит:

«Кроме всех известных партий, существуют еще две огромные, это И.И. и П.П.».

Расшифровка такая: испуганный интеллигент и перепуганный помещик.

Полковника явно коробит:

«Да-с, конечно, забавно, но вот смешно ли?»

Потом в Москве бесконечное скандирование: «кадеты», «эсеры», «эсдеки», «анархисты», «монархисты», «трудовики», «меньшевики» — и наконец выплывает понятие «большевики».

Сначала о них говорят мимоходом, потом все чаще и чаще.

Осень напряженная, томительная, долгая. Неожиданный перерыв в школьных занятиях, на улицах перестрелка. Потом с Воробьевых гор большевики стали палить крупнокалиберными по Кремлю. Моя детская разнесена в щепки шрапнельным снарядом.

В последний вечер городских боев пришел из юнкерского Александровского училища нечеловечески усталый дядя Коля. Сказал:

«Дальнейшее сопротивление признано начальством бессмысленным. Капитуляция вступит в силу в эту ночь. Это конец».

Потом в совсем осенний, почти уже зимний день в церкви Благовещения у Никитских ворот отпевали тех, кого называли юнкерами.

Родители вернулись с похорон скучные. Мама, сидя в столовой, раскладывала пасьянс, что-то про себя думала, морщила лоб.

Между тем жизнь в приарбатье шла по-прежнему. Политика политикой, власть там такая или другая — это одно, а жизнь жизнью, и неохотно в течение этой зимы умирала старая жизнь Арбата.

Бывшие собственники огромных компаний, заводов, фабрик, магазинов и даже лавчонок стали теперь директорами, ограниченными рабочим контролем.

И опять в столовой на красном диване сидит какая-то гостья и говорит:

«Вы понимаете, эта новая власть не может сама справиться. Сергей Сергеевич по-прежнему ведет все дела. Ну конечно, не совсем по-прежнему. Но мы им нужны, они не могут обойтись без нас».

Мама молчит, внимательно слушает.

Теперь изредка стали появляться уже бывшие помещики, такие, которые и зиму и лето жили в деревне в своем гнезде. Новые обстоятельства сделали их пребывание там нежелательным, пришлось уехать кто куда, и вот многие из них — в Москве. Выбитые из привычного уклада жизни, чувствуют они себя неуверенно и конфузливо.

«Что делать собираетесь, Егор Егорович?»

«Видимо, преподавать буду, в университет зовут. — И с улыбкой добавляет: — Свою филологию вспомнить придется, благо я и учебник когда-то написал, из своей же диссертации переделал».

Мама участливо спрашивает:

«А Хомутовка-то ваша, что там?»

И ответ:

«Понятия не имею. Что прошло, то прошло. Буду жизнь начинать наново», — говорит и поглаживает поседевшую голову.

В последовавшие годы немало хороших книг написал этот человек.

Потерю Адамполя и прочего родители мои приняли с таким абсолютным равнодушием, словно этого Адамполя никогда и не было.

Только меня тревожила судьба собак, аистов и лошадей.

Мама сказала так:

«Что же, Адамполя мне жаль, я его любила, но проживем мы и без него. Теперь на уме должно быть другое».

Папа сказал иначе:

«Ну чего вам с матерью этот Адамполь дался. Болото паршивое. На свете есть места куда лучше. А собаки, собак жаль и мне. Ну, авось устроятся как-нибудь».

Словно на смех через неделю после октябрьских событий из Адамполя с оказией привезли посылку: окорок, битая птица, пастила и прочее.

Мама смеется:

«Адамполь-то даже реквизированный, а все же помог. Зря ты его ругаешь».

Потом, видимо, был Брестский мир, отделение Малороссии, которую стали именовать Украиной, самоопределение Польши, а в Денежном переулке в особняке Берга водворился всесильный граф Мирбах, имя которого было у всех на устах и даже пережило самого графа. С документом, подписанным им, считались даже большевики.

За годы войны в Москве собралась маленькая колония польской аристократии, теперь по случаю самоопределения к моим родителям стали приходить с прощальным визитом люди с историческими фамилиями прямо из Сенкевича. Эти решительно советовали родителям поскорее уносить ноги, если же это предложение неприемлемо, то желали хоть пережить наступающее лихолетье.

Потом опять вспоминаю гостью на том же красном диване, может быть, ту же, а может, и другую, это не важно, она говорит:

«Сергей Сергеевич отстранился от дел, с ними работать абсолютно невозможно. Вы даже не представляете, какой кавардак в делах происходит, но ничего, скоро этому конец. Сергей Сергеевич ведь связан с очень значительными людьми, он сказал, что ровно через три месяца наступит крах и все это само собой рассыплется. Это математически точный расчет».

Через месяц-два эта же дама вместе со своим Сергеем

Сергеевичем пришли попрощаться:

«Существовать в этом сумасшедшем доме немыслимо. Поживем в Берлине, а когда здесь все это лопнет, вернемся».

Я эту даму и ее Сергея Сергеевича не выдумал, я только их замаскировал. Таких было много, были и некоторые разновидности.

Вот пара, это очень богатые люди, они с собой увозят много, и там, на Западе, у них есть средства. Она молода, красива, великолепно одета, он — инженер-химик очень редкой специальности. Здесь теперь он, так же как и прежде, работает на своих же, но теперь уже бывших своих заводах и там, на Западе, тоже будет работать. Его редкая специальность полностью обеспечивает его повсюду, но здесь он дома, и ехать ему явно не хочется, но об этом он молчит. Говорит она:

«Нет, нет, пусть Яша как хочет, а я уезжаю. Здесь, конечно, все это долго так не продержится, но, как и все в этой стране, кончится грандиозным еврейским погромом».

Мама явно ошарашена, но, не выдержав, смеется:

«Ну что вы! С чего бы это могло быть, сейчас как будто все наоборот». Мама недоговаривает.

«Вот именно потому, что «наоборот», — темпераментно говорит гостья. — Вам хорошо смеяться. А я знаю, что это такое. И так будет обязательно, и я боюсь».

В эту солнечную весну и еще более солнечное лето события шли навалом, содержание их — в разрушении. Восстановить последовательность возможно, но это совсем ни к чему.

Уехала на гетманскую Украину бабушка, уезжая, понимала, что никогда не увидимся.

Застрелился дядя Коля, трагические летние дни после его смерти, отпевание у Федора Студита. Мама на людях не плачет, выходит с сухими глазами, а что делает у себя в комнате — неизвестно. Чаще обычного приходят Бердяевы, Лидия Иудифовна чуть не каждый день ведет с мамой душеспасительные беседы, но «не в коня корм».

Затем на ту же Украину уезжает тетя Оля и вся семья моей мамы. Ее средний брат, путеец, он уже там, служит у гетмана, затем последовательно у всех украинских властей вплоть до Врангеля.

Пуста квартира в Столовом, но пустота эта относительная, ее уже начинают заселять всяким приезжим сбродом. Я бегаю туда часто навестить прислугу и собаку Урсика. Когда ухожу, прислуга сует мне большие свертки:

«Забери домой, а то вселят еще этих «теперешних», ведь все раскрадут».

Действительно, крали нещадно.

Москва, приарбатье совсем опустело, но мутные волны революции с отливом наносят уже всякую мразь. Она, эта самая мразь, энергична, цепуча, жадна, честолюбива, глупа, хитра, бессовестна, она где-то уже около власти, и не успеешь оглянуться, как оказывается, что она уже власть. В ее руках уже возможность причинять зло.

Мама распродает все, что попадается на глаза, начиная от драгоценностей и кончая одеждой. Удивляется:

«Боже, сколько всего этого и зачем оно нужно».

Жизнь труднеет, черствеет, страшнеет.

«Вы явно хотите что-то сказать, ну так говорите же. В чем дело?»

Это известие пришло с оказией из Петрограда — о том, что в числе «заложников буржуазии» расстрелян старший брат мамы, а дети его отправлены в колонию для малолетних преступников.

Мама опять не плачет, вернее, этого никто не видит.

Жизнь требует ежедневной борьбы, и она борется на свой лад, расточительно, неумело, но как-то с легкой душой.

Близкие, друзья и знакомые убиты, расстреляны, умерли, рассеялись по свету, кто где — неизвестно, но пустоты нет, на их месте появляются новые.

До революции моими товарищами были дети из интеллигентских семей, а летом — дети крестьян. Как теперь я понимаю, в ту пору в крестьянстве еще что-то оставалось от настоящей культуры. От моих крестьянских товарищей я не обогатился познаниями в области различной похабщины. Возможно, что сами они знали «матерщину», но их родители понимали, сколь омерзительно звучат эти ругательства в детских устах, и дети не сквернословили. О различных «естественных потребностях» они не говорили, а если и случалось, то в парламентской форме.

Теперь интеллигентные сотоварищи мои в большинстве рассеялись по всему свету, а крестьянские стали мне недоступны, и получилось временно как-то так, что моими товарищами стали дети крупнейшей буржуазии.

Это та часть буржуазии, которая в ту пору еще не уехала из России, а пыталась как-то пристроиться к новой власти. Основания для этого у них были, ведь когда-то раньше они воротили делами, и возможно, что знали в них толк. Теперь они числились где-то служащими, конечно, подальше от тех предприятий, акции которых лежали у них в кармане. Кое-кто из эгой публики даже был в фаворе у большевиков. Насколько я понимаю теперь, они, рискуя своей шкурой, пытались ловить

«рыбешку» в революционном болоте. Иными словами, более или менее удачно занимались спекуляцией. Это и многое другое позволяло им жить в своих бывших огромных квартирах, а иногда в своих же роскошных особняках. Держали они большой штат прислуги и очень цепко и неохотно сдавали позиции.

Странные впечатления остались у меня от знакомства с этими семьями. Несмотря на несомненную принадлежность их к ультрабуржуазии, что-то роднило их с городским мещанством.

Эти новые знакомства начались во время игр на соседних дворах, и одно знакомство естественно влекло за собой другое, так что в конце концов я оказался в совершенно чуждой мне среде. Вот эти-то мои сотоварищи и просветили меня в области российской матерщины и похабщины. Их познания в области элементарной культуры были нулевыми, их любимая тематика была «ватерклозетная». Для меня по сей день непонятно, откуда они сами все это почерпнули, и особенно непонятно мне то, что моими основными просветителями были девочки. Это обстоятельство кажется мне просто невероятным. Ведь они-то были отгорожены от мира кордоном из двух-трех гувернанток, говоривших не на русском языке.

Родители этих детей пожелали познакомиться с моими родителями и стали бывать у нас.

Мама говорила:

«Володька свинья, наградил нас знакомством».

В особенности допекала ее одна из этих дам. Была она весьма богата по мужу, происходила же из семьи богатейших заводчиков, имя которых было настолько популярным, что сохранилось в обезличенной форме и по сей день. Дама эта прилипла к маме, и спасения от нее не было. Мама так говорила:

«Господи, что за напасть такая. Я от нее прямо сатанею. Говорить с ней — все равно что на четвереньки становиться».

Как-то спросила у пришедшего к нам Андреева:

«Николай Андреевич, вы всяких людей знаете, что она такое, объясните».

«Тут и объяснять нечего. Знаю, конечно. Из тех, что, как прислуга выйдет, жрет с тарелки руками».

Объяснил точно, в своем стиле, в своем ключе и даже не улыбнулся. А я с тех пор не мог сесть за стол в этом доме, боялся. Бриллианты в ушах с грецкий орех величиной, а вдруг и вправду руками.

В один весенний день мертвый Арбат улыбнулся нам нэпом. Нэп — поганейшая пора нашей жизни. Нэп вообще больная эпоха в жизни страны. Двадцатые годы израсходовали, растратили духовные силы, накопленные предреволюционной Россией.

Жизнь, казалось, бурлила вокруг нас, изобилие продуктов было невероятно, продавалось буквально все, денег же на покупку ежедневно необходимого не было. Так было у нас дома, так или почти так было и у многих других.

Искусство, а в особенности скульптура, было никому не нужно.

Папа болезненно переживал отсутствие заработка, безденежье мучило его морально.

Мама шила на заказ платья, преподавала языки, распродавала имущество, и все это ее не смущало.

«Володя, возьми из стола какую-нибудь брошку, сбегай и продай в скупку, а то обедать нечего».

«Что же именно взять? Скажи, что».

«Некогда мне. Сообрази сам. Или возьми лучше серебра из буфета и купи, да только чтобы папа не знал, а то он опять работать не сможет».

И я относил мамино, бабушкино и прабабушкино серебро на Арбат, продавал, платили по весу.

«Мама, нам скоро есть будет нечем, серебро же когда-нибудь кончится».

«Брось, чепуха. Когда придут времена, что оно станет нужным, появится».

И опять времена: уплотнение, угроза выселения, безденежье, процессы, посадки, обыски, доносы, классовая чуждость и прочее.

А мама опять:

«Это все чепуха. Ну, трудно, да. Ну, поборемся, потерпим, и все будет в порядке. Только вот папино здоровье меня смущает».

Опять, как всегда, у нас много народу, и самого разного, и опять на диване или за столом какой-нибудь гость, вполне пристойный русский интеллигент, изрекает уже иначе:

«Нет, нет, Екатерина Львовна, зря без повода сажать не станут, ведь это бессмыслица».

«Господи, что вы говорите. Посмотрите, что делается с самого начала этой милой революции. В лагерях миллионы гниют».

«Ну что вы, какие там миллионы, а потом ведь это в основном уголовники. Подумайте сами, ведь вы же умная женщина, кто же станет специалистов, ценнейшую часть населения, так бессмысленно уничтожать. Чистое золото швырять на помойку. Это же нелогично. Это абсурд».

Но мама уже молчит, молчит упорно, только внимательно-равнодушно смотрит на говорящего. Оратору явно неловко, он смолкает, а мама переводит разговор.

Папина смерть была ее катастрофой, от которой она уже не оправилась до конца. С папой ушла главная часть ее души, смысл

ее жизни.

Она пережила его на девятнадцать лет. Жила нами, которых очень любила. Была по-прежнему весела, ровна, энергична, освещала все вокруг себя радостью. Интересовалась всем, знала все, что мы делаем, знала до мельчайших подробностей, помогала всем чем могла.

При всем этом чего-то самого главного у нее уже не было. Ежедневность заставила ее признать, что папы нет, но примириться с этим она не. могла до конца своих дней.

Она по-прежнему ярко откликалась на все происходящее. Война, бомбежки, голод — все это ее мало пугало.

«Немцы или большевики — один черт».

Когда пришло сообщение о смерти Сталина, она мелко-мелко перекрестилась, в глазах у нее были слезы, сказала:

«Благодарю тебя, Господи, что дал мне возможность пережить эту гадину».

Недуги, болезни, старость отскакивали от ее деятельной жизнерадостности.

Как-то, после каких-то многолюдных именин пятидесятых годов, где большинство гостей было в возрасте (Кузнецовы, Бехтеевы), сказала:

«Ну их к черту, от старичья совсем осатанеешь. Разбавь их на следующих именинах кем-нибудь помоложе».

О смерти говорила так:

«Умирать — это нестрашно, жаль только расставаться с теми, кого любишь».

А за месяц до смерти вдруг неожиданно очень требовательно спросила меня:

«А там я встречусь с теми, кого люблю?»

В день смерти была очень деятельна, ходила по жаре за покупками, пешком поднялась на восьмой этаж. Лифт испортился.

Умерла вечером почти мгновенно.

Ноля Митлянский сказал мне этой ночью:

«Жила легко, умерла легко».

Вот действительно ли легко жила? Этого я не знаю.

Глава V

Мы все живем, окруженные теми или иными вещами, это как бы наша скорлупа, наша раковина.

В моей жизни получилось как-то так, что моя скорлупа создана не мной. Она явилась следствием напластования предметов, бытовавших в нашей семье за срок более чем в два

столетия. Понятно, что это надо понимать с оговорками, исключающими то или иное. Все остальное — это то, что почти случайно уцелело от самых различных эпох прошлого. Словом, это в полном смысле «осколки разбитого вдребезги».

Мне известно происхождение большинства из окружающих меня вещей, мне известны мои предшественники, которые употребляли их, которые любовались ими или служили их моделями и были даже иногда их создателями.

У меня есть ощущение кровной связи с окружающими меня предметами. Но это не единственная связь, есть и иная. Обстоятельства, а может быть, и природная склонность толкают меня добывать драгоценную руду впечатлений из этого предметного мира.

Способность проникать в душу предметного мира, мира материальной культуры,— качество, требующее специфического зрения. Простой физиологический акт зрения ровным счетом ничего не дает. Не много дадут и общие «познания». Для того чтобы соприкоснуться с душой предмета, впитать в себя его художественность, требуется иное, нужно обладать тем, что можно условно назвать духовным видением. Собственно, это способность видеть красоту предмета, проникать в сущность этой красоты, питаться ею.

Такое видение обладает мощными ограничителями. Прежде всего ограничителем автономным, каковым в данном случае будет личная восприимчивость, или, иначе сказать, одаренность, в области чувства предмета. Другим ограничителем будет эпоха, в которой мы живем, культура, которой мы пропитаны. — это уже ограничители гетерономные.

Я прекрасно понимаю, что, ограничивая вопрос лишь предметами материальной культуры, я совершаю некоторую теоретическую ошибку, режу ножницами по живому мясу. Собственно говоря, все, что нас окружает, будь то деревенский или городской пейзаж, интерьер и так далее, подвержено той же закономерности. Восприятие их также зависит от духовного видения. Но тема этой главы не о видении вообще, а о судьбе предмета материальной культуры.

Духовное зрение не является всеобщим достоянием, это дар, и, как всякий дар, он может быть или не быть. Социальная, имущественная, сословная или традиционно семейная принадлежность не дает здесь никаких привилегий. Мало дает и культурная атмосфера, она в лучшем случае поможет этому дару проявиться, но научить любить никакая атмосфера не может.

Я далек от мысли, что во все эпохи с этим духовным зрением все обстояло благополучно. Нет, далеко не всегда этим даром

обладали все эти многие, в обозримых историях культур больше найдешь вандализма, чем любви.

Как раз на жизни моего поколения можно было наблюдать умирание духовного зрения и наконец его смерть.

Теперь уже можно смело сказать, что люди ослепли. Процесс этой слепоты постепенен, у нас он тянется около полутора столетий, последнее шестидесятилетие его только ускорило и обострило.

Предметный мир есть неотъемлемая часть быта. Быт же сам по себе не существует, он внешнее проявление культуры, одна из ее форм. Здесь мы встречаемся с обратной зависимостью; гетерономность выступает не только как ограничитель, но и как формирующее начало.

Только традиционные слои общества могут обладать бытом, имеющим свое лицо; таковым в дореволюционной России было крестьянство, его культура и ее форма — крестьянский быт. По укоренившейся привычке к традиционным слоям общества относят помещиков, но для двадцатого века это неверно. В этом веке дворянско-помещичьей культуры как чего-то самостоятельного, цельного, единого просто уже не существовало. Все это растворилось, смешалось и почти что обезличилось.

Лицо купеческого быта больше смахивает на отражение в кривом зеркале, его прельстительная пряность придумана художниками. В понятии «мещанский быт» заложено неизгладимое противоречие, собственно, понятие это чисто негативное. Чиновничий, бюрократический быт в принципе не может иметь лица, он говорит лишь об иерархическом положении его обитателей.

У нас в России в ее культурных слоях быт во всех смыслах стал рушиться одновременно с кристаллизацией понятия «русская интеллигенция» в специфическом значении этого слова. Это произошло еще задолго до шестидесятников.

Стиль быта русского интеллигента — это принципиальная бесформенность, бестолковое заполнение пространства более или менее безобразными и случайными предметами. Презрительное отношение интеллигента ко всем формам быта и к материальной культуре — это уже приближение к слепоте. Достаточно сравнить рабочую комнату Пушкина и Льва Толстого, чтобы увидеть величину разразившейся катастрофы.

Приблизительно с сороковых годов русская культура стала жить в основном жизнью идей, стата бредить понятиями «прогресс», «гуманизм», «просветительство». Позитивизм стал кровеносной системой эпохи, без понятия «прогресс» никакое

мышление было невозможно.

Вера превратилась в нечто, нуждающееся в оговорках. Даже люди, оглядывающиеся на Евангелие, смущались «чудесами», искали им чуть ли не медицинское объяснение.

Научные, философские или политические идеи совсем другой породы, чем то, что можно назвать «идеями» предметного мира. Отсюда слепота к этому миру. Предмет стал как бы низменной категорией, чем-то вроде «суета сует».

Я помню кое-как быт дореволюционной России. В мою плоть и кровь вошли бревенчатые, прокопченные, оливково-коричневые стены крестьянских изб. Иконы, образки, блестящие олеографии, мерцание красных, или зеленых, или синих зажженных лампад. Немыслимый мастодонт мудрейшей русской печи. Печи, в которую залезали внутрь и там мылись девки и бабы. Печи, наверху которой, завернувшись в вонючий тулуп, додремывал свои нехитрые и считанные уже дни старый дед. Помню кислый запах этих изб. Помню квадратные маленькие окна, а за ними — режущая глаза зелень травы.

Более смутно встает в моей памяти прелесть «хохлацких» мазанок. Их поражающая чистота, выбеленные стены, толстейшим слоем окрашенный пол, занавески с кружевами, вышитые цветами полотенца, обливные крынки, макитры, на окнах — горшки с цветами, в палисаднике мальвы, расписные ставни на фасаде, словом, мир, созданный тучной украинской землей и жизнелюбием какой-нибудь Оксаны.

Но, конечно, гораздо лучше я знаю и хорошо помню совсем уже умирающую, утлую обстановку помещичьих усадеб, домов, уже зараженных «интеллигентщиной». Многие из этих усадеб стоят перед моим взором так, словно вижу их сейчас.

Образ комнаты в помещичьем доме, воспетый мирискусниками и их последователями, — это импровизация на тему о том, что умерло задолго до моего рождения. Хорошо, если одна-единственная комната хранила разрозненные воспоминания о прошлом. Красота была не ценимая, не нашедшая своего места в идейном веке, позабытая, сохранилась чисто случайно в виде отдельных вещей. Вещей чисто утилитарных, которых не успели перебить, исковеркать, отправить на свалку, на чердак. То, что пришло, вкрапилось в старый быт помещичьего гнезда, вытеснило его, обесценило, обезобразило его своим соседством, было столь безликое, бедняцкое, бездушное, что говорить о нем невозможно.

И все же подчас отдельные уцелевшие вещи жили как вкрапления в этом бессмысленном быту, причем жили с какой-то удвоенной силой. Они-то и были здесь по праву, как бы ровнями, братьями-близнецами этих усадеб.

Старый, поломанный ампирный подсвечник с египтянкой, держащей на голове капитель с традиционным лотосом, — импровизация эпохи, восхищенной бессмысленным походом толстопузого коротышки. Свеча в подсвечнике освещает шестиугольный стол, покрытый старинной, гобеленной, еще запсельской скатертью. Огромная эта комната еле видна, темно, все контуры стерты. За окном вечер и мелкий дождь. Мама пишет по-английски письмо своей бывшей гувернантке. Передо мной — Пушкин, остатки запсельской библиотеки. Это «Дубровский», я не столько читаю, сколько проглядываю, и мне почему-то грустно. Чувством, а отнюдь не сознанием, мне просвечивает сквозь эту повесть маленький толстый капрал, и, пожалуй, не он сам, а воздух, окружающий его имя, герой, еще не успевший тогда выветриться из моей крови. Герой, ставший символом для наших романтических предков, пропитавший отблеском своей немыслимой славы, и сомнительной славы, даже российское помещичье захолустье. Эта немудрящая сценка и я, склоненный над старым, потрепанным Пушкиным, — это еще «оттуда». При неярком свете свечи это еще одухотворенный быт.

Совсем другое я видел в роскошных апартаментах крупных капиталистов, с детьми которых дружил в городе. Там быт должен был лишь соответствовать количеству миллионов их владельцев. Отношение к предметам материальной культуры определялось лишь их стоимостью. Внутренней взаимосвязи между предметами и их владельцами в принципе быть не могло. Даже подлинность любви к своим коллекциям прославленных московских меценатов кажется мне сомнительной, подточенной снобизмом.

Большую часть моей жизни мне пришлось ощущать быт отнюдь не как форму культуры, а всего лишь как синоним существования. В условиях коммунальных переуплотненных квартир быту как форме культуры просто не было места. Это в корне меняло положение предметного мира.

Перманентное безденежье людей, находившихся в поле моего зрения, принуждало их смотреть на вещи как на некий эквивалент, способный заткнуть очередной продажей финансовую дыру, а подчас попросту чтобы не сдохнуть с голоду. Отдельные предметы, несущие на себе печать искусства, могли, конечно, сохраниться где-нибудь в пыльных углах, затиснутые туда шкафами и необходимостью. Наличие их в подобных условиях было для этих вещей оскорбительно, а далее уже гибельно. Гибель культуры, потеря соединительных звеньев отдавала предметы материальной культуры на произвол одичалых потомков.

Можно утверждать, что предметный мир, созданный за это шестидесятилетие, ничтожен во всех смыслах этого понятия недовольно точно отражает духовный вакуум эпохи, в которой мне довелось жить.

Конечно, в условиях небывалых по глубине и размаху катастроф предметная культура и не могла иметь места, не до нее тут было. Такое объяснение, конечно, возможно, но явно недостаточно. Здесь напрашивается иная мысль: ведь есть некая неуклонность судьбы, ей нечего противопоставить. Судьба величественна, спор с ней немыслим. Попытки понять ее глупы, по существу, так как нам непонятна ее цель.

Идеи, мысли, организации, действия, войны, революции, как бы грандиозны они сами по себе ни были, — все это мелочь, это все лишь рядовые солдаты, которых судьба использует в своих непостижимых устремлениях. Любой самый «великий идеолог», чего бы он ни желал, все равно в результате выполнит совсем не то, что хотел, а то, что надо Судьбе.

Подумать только, что этот «идейный» девятнадцатый век породил слепоту. Что этот же «идейный», ужасно болтливый век породил глухоту. Что этот же век, век-«мыслитель», породил утлое, убогое, калечное мышление.

В результате его вдохновенной деятельности мы живем в слепом, глухом и духовно одичалом мире.

Что делать, как существовать бедной и хрупкой вещи предметного мира? Она создана для людей, а они слепы, рассказать им о ней, но они глухи.

Мой отец любил самые различные предметы, все, начиная с рабочих инструментов. Словом, все, что таило в себе мудрую целесообразность, красоту в любом понимании этого слова. Многое из того, что его окружало, он буквально фетишизировал, в особенности инструменты. Он не только любил мир вещей, но и умел с ним жить, вещи сами собой как бы врисовывались в его жизнь, соучаствовали в ней, соавторствовали в его работе. Он был отродясь с ними на «ты». Ему, как и всем другим, случалось испортить ту или иную вещь, сломать ее, потерять и так далее, но это никак не влияло на их отношения, все было по формуле «чего не бывает между своими». Вещи, которые он употреблял, делались чем-то лучше от этого. Притирались к руке.

Словом, между моим отцом и той частью предметного мира, которую он любил, была как бы полная гармония, то есть то, что и должно быть.

У меня же эти отношения сложились иначе, и смысл этого заложен во времени.

Я не менее, чем папа, люблю этот вещный, предметный мир,

для меня он не менее, чем для него, живой и одушевленный.

Однако именно гармоничности мои отношения с этим миром как раз лишены. Между мной и отдельными любимыми вещами встало чувство боли и страха за их судьбу, я вижу их обращенными ко мне душой нараспашку, а сам гляжу на них с чувством страха за собственную несостоятельность.

Меня давит сознание невозможности обеспечить их дальнейшее бытие. Я не могу слепым и глухим объяснить мудрую красоту предметного мира, я не умею рассказать об исходящем от них тепле. Меня пугает хрупкость и разрушимость вещей.

За жизнь я сравнительно мало погрешил перед ними. И в то же время я не могу отделаться от чувства какой-то вины перед ними, от страха заплатить за великодушие черной монетой неблагодарности.

Предметный мир, отмеченный печатью любви и красоты, звучит для нас уже трагически.

Единственное, что в наших силах, это отправить его в места обезличенной резервации. Нам, хорошо знакомым с подобными местами, это очень слабое утешение. Во-первых, там, в этих резервациях, это никому не нужно и не интересно, во-вторых, подобные учреждения никакой гарантии сохранности вещей не могут дать.

Да и куда и зачем? Ни сохранности, ни «жизни» предметам ты таким способом не обеспечишь. В лучшем случае отдельные вещи могут удостоиться чести, чтобы за ними «толпы зевак ходили».

В резервациях их встретит то же равнодушие хранителей и равнодушие зевак. И те и другие по-своему правы. Для хранителей это лишняя докука, а зевакам совершенно законно наплевать, на что глазеть в этом слепом, глухом и скудоумном мире.

Так что и эта форма, столь апробированная, стала в конечном счете надругательством над несчастным миром вещей.

<…>

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

В девятьсот девятом году появился на свет я. Собственно, это событие весьма мало повлияло на жизнь моих родителей, да и в дальнейшем мое соприсутствие особого значения не имело. В рамках же этой писанины, повествующей от первого лица, все, о чем здесь говорится, носит печать тех ракурсных искажений,

причина которых таится во мне.

Родители мои, в силу противоположности своих характеров как бы дополнявшие один другого, являлись неким почти идеальным целым. Для их жизни и счастья мое существование было необязательно. Поскольку я затесался в их содружество, я постепенно стал его членом и, пожалуй, был не лишним. Мое детство было исключительно счастливым. Я не был центром, вокруг которого вращалась бы жизнь семьи; я был чем-то явно периферийным. Отношение ко мне было скорее всего добродушно-юмористическое. Очень всерьез меня не принимали. Подобное отношение бывает к симпатичным и любимым щенятам. Любопытно, что что-то от этого осталось до конца нашей совместной жизни, то есть до того времени, когда я был уже вполне взрослым человеком.

Если я почему-либо оказывался в смешном положении, меня утешали столь любимой моими родителями хохлацкой поговоркой: «Ничего, из-под смиха люди бывают».

Я и приблизительно не могу перечислить того, от чего в моей жизни, дальнейшей жизни, спас меня добродушный юмор, царивший в нашей семье.

Но более всего я благодарен им за то, что с самого начала жизни мне дали полную «отпускную», дав мне право быть тем, чем я захочу, абсолютным нулем или чем-либо еще. Словом, радоваться жизни на свой лад.

В мои дела особенно не вникали, а от меня требовалось лишь быть воспитанным человеком. Я мог дружить с кем угодно, учиться или лоботрясничать по своему усмотрению. Теперь я понимаю, что в этом был некий элемент доверия ко мне.

Все это сделало мое детство исключительно счастливым, и ощущение этого счастья прошло через всю мою жизнь.

Теперь, соображая по памяти, я все-таки думаю, что был чем-то нужен своим родителям, причем отцу больше, чем маме.

Папа несколько раз объяснял мне, зачем именно я был ему нужен и то, чем я ему невольно помог, но для меня это так и осталось неясно.

Что-то во мне его несомненно устраивало, кое-что ему не особенно нравилось, о многом он говорил в глаза резко и ясно, но, как теперь я догадываюсь, об очень многом просто молчал, надеясь, что со временем все само собой утрясется. И все-таки, если бы отец в силу каких-либо причин получил бы возможность меня перелепить заново, он, конечно, кое-что во мне изменил бы, но изменение это касалось бы относительных околичностей, существо же мое осталось бы нетронутым.

С мамой было иначе. Несмотря на то, что она меня очень

любила, слишком многое во мне ее совсем не устраивало. Об этом она почти никогда не говорила, она мирилась с тем, что я таков, каков я есть, но если бы ей досталась возможность меня пересоздать, от меня камня на камне бы не осталось.

В нашем доме всякие громкие слова не пользовались правами гражданства. О чувствах же принято было говорить лишь в ироническом плане. Я бы, вероятно, очень удивился тогда, если бы мог предвидеть, что впоследствии, на старости лет, назову чувства, нас троих соединявшие, любовью.

В моем детстве родители возились со мной лишь тогда, когда им этого хотелось. Все остальное время я жил на попечении няни, которой и было передоверено мое физическое и духовное воспитание.

В жизни родителей моя няня была туманностью, к которой вряд ли приглядывались. Для меня же в детстве она была всем. Как и большинство людей этой профессии, она была неудачницей, ее жизненные катастрофы трагичны своей обыденностью. Звалась она Улитой и была крестьянкой Сопожковского уезда Рязанской губернии. Замуж вышла за московского извозчика. Знаю, что муж ее пил, а сына Ивана она отдала в люди, сама же пошла служить. Муж как-то своевременно сошел со сцены — умер, а сын вырос пьяницей-мастеровым. Когда он отбыл воинскую повинность и вернулся в Москву, няня пыталась организовать совместную жизнь, но кончилось это плохо. С проломанной головой она оказалась в больнице. После излечения, снабженная солидными рекомендациями, она поступила к нам. Затем вскоре сын умер где-то от туберкулеза. Няня купила в самом конце Ваганьковского кладбища место и похоронила там своего Ивана. С тех пор ежегодно в конце пасхальной недели отправлялась туда, к путешествию этому готовилась озабоченно. Вернувшись, казалась чужой, даже запах приобретала какой-то незнакомый, кислый.

Со смертью Ивана нянины семейные заботы не окончились. У нее был племянник, о судьбе которого она очень пеклась. Теперь я догадываюсь, что он был ей отнюдь не племянник, вернее всего, он был последствием какого-то няниного увлечения. Звали его Прошка. Пока он рос, няня платила кому-то за его содержание, а потом безуспешно пыталась наладить Прошкину трудовую жизнь. Невысокий, широкоплечий, узкотазый, горбоносый, с круглыми сливинами вороватых глаз, чернокудрый Прошка рано догадался, что обладает магической властью над сердцами девиц, украшающих собой под вечер московские бульвары. Блестящая деятельность альфонса, или кота, хоть и была по вкусу Прошке, но как-то у него не ладилась, скандальные истории непрерывно

преследовали его и отражались на рентабельности самого предприятия. Вряд ли няня в душе порицала Прошкину деятельность; скорее ее смущали перепады в судьбе воспитанника и необходимость скрепя сердце время от времени снабжать Прошку из ее нищенского кошелька рублями, скопленными за долгую трудовую жизнь. Жизнь моей няни была безрадостна Перед ней как бы планомерно закрывались все жизненные возможности, оставляя ей узкое и предопределенное русло.

Внешне она была чем-то похожа на бесхитростные псковские церквушки, вылепленные, словно куличи из песка, как придется, без претензии, без полета фантазии, маленькие, приземистые, белокаменные, одухотворяющие волнисто-зеленые просторы. Росту была она невысокого, Ни худа, ни толста. Лицо ее было такое обыденно-простонародное, что описать его трудно. Так же под стать всему этому было и неопределенное выражение ее маленьких и каких-то уж чересчур ясных глаз.

Впоследствии я узнал, что няня моя потаенно выпивала, но делала это столь ловко, что ни я, ни мои родители ничего не подозревали. Знала об этом Катерина, но, понятно, молчала. Няню она презирала до такой степени, что едва ли видела в ней человека.

Родители не хотели разрушать моих иллюзий, и о том, что няня не чуждалась Бахуса, я узнал уже взрослым человеком, а сами родители узнали об этом совсем случайно. Как-то поздней осенью отец взял меня в подмосковное именьице Малевич-Малевских — Хорошевку. За нами прислали лошадей. Катерина вполне справедливо нашла, что в данном случае молчать уже нельзя, и, чуть не плача от смеха, сказала маме о нянькином состоянии. Мама, пораженная этим открытием, сказала отцу. Папа воспринял это равнодушно, пожал плечами, деловито осмотрел няньку и сказал: «За дорогу все выветрится».

Эту поездку я помню. Няня весь двадцатикилометровый путь молчала в коляске как памятник. Помню остановку, кучер поит лошадей, нянька в коляске, а мы с папой стоим около придорожного кювета. По-осеннему обглоданные репейники цепляются за мои чулки, папа перламутровым маленьким ножичком чистит мне персики, режет их на дольки и, надев на кончик ножа, кладет их прямо мне в рот.

Няня была не только спутницей моего детства, была она частью его, и, может быть, главной. Отец объяснял нашу тесную дружбу тем, что умственные наши возможности тогда не слишком разнились, но верно это лишь отчасти. Я ей обязан многим. Все ли, что я от нее получил, действительно хорошо, этого я не знаю, но полученное пронес буквально через всю жизнь.

Подлинность няниной любви к сыну мне внушает сомнение, по отношению к Прошке уже были лишь обязанности и страх. До нас няня где-то служила. Там тоже были ее выходки, но ни она о них, ни они о ней не вспоминали. Насколько я понимаю, я был ее единственной, но едва ли глубокой привязанностью. Она знала, что я ее очень люблю. В детстве я любил ее, вероятно, сильнее, чем своих родителей, но думаю, что большого значения моей любви она не придавала, может быть, по опыту знала, что все на свете проходит как дым.

Мы часто ходили в церковь вместе, но, переступая ее порог, существовали уже раздельно. Я любил стоять в левом приделе около Ахтырской Богородицы, иконы, особо чтимой в нашем приходе. Написана она была в сороковых годах прошлого столетия. Ее пышная риза была украшена драгоценными камушками, а в корону была вделана великолепная брошка — большой изумруд, звездообразно отороченный бриллиантами. Брошка досталась этой иконе по завещанию старушки-прихожанки, жившей поблизости от нас.

Кроме больших праздников, придел этот тонул во мгле. Я любил смотреть, как лучи дневного света врывались в окна и, бултыхнувшись во мглистый воздух церкви, постепенно смиряли свое буйство и в конце концов всего лишь парили и трепетали вокруг теплого и ласкового света свечей, окружавших Царицу Небесную.

Няня стояла всегда против центрального алтаря, там золотая светозарность вместе с клубами ладана и серафическими голосами хора поднималась в синеющую подкупольную высь. И мне казалось, я видел, как в этот извечный свет поднималась и нянькина душа, уходя от земного несовершенства.

Ходили мы с няней и в музеи, но в этом пункте няня уже просто шла навстречу моим интересам, ей самой едва ли что там нравилось, кроме васнецовского эскиза к серафическому поясу Владимирского собора. Теперь мне кажется, что наше высокомерие к этой живописи неоправданно, что-то есть в ней такое, что говорит душе простого человека.

На улице няня любила вступать в разговоры с нищими, не с калеками и юродами, а с такими, для которых это был естественный и необременительный вид заработка. Что-то в характере и неведомых мне закоулках няниной биографии было такое, что тянуло ее к ним. Возможно, тут играло роль нянино отвращение ко всякой работе и романтическая мечта о свободе птицы небесной.

Наше утро начиналось питьем чая. Происходило это в детской. Затем мы погружались в книгу, популярно излагавшую

Старый и Новый завет. Книга эта была буквально испещрена иллюстрациями. Иллюстраций этих хватило бы на объемистую историю искусств. Няня читать почти не умела. С трудом разобрав заглавие, она весьма толково объясняла мне смысл данного эпизода. Основа моих познаний, не только фабулы священной истории, но и ее осмысление, лежит в нянином истолковании.

Именно от няни я впервые узнал идею о коллективной взаимовиновности людей, об ответственности всех за одного и одного за всех, о великой высоте смирения, об относительности дурного и хорошего, о безграничной свободе души и о бренности нашего тела.

Поражает меня, откуда она, выморочная сопожковская крестьянка, промаявшаяся всю жизнь в качестве услужающего, почти безграмотная и едва ли умная, откуда она почерпнула все это. Поневоле напрашивается мысль, как мало, как низко ценили культуру народную и как высока она была.

Няня часто говорила о своей близкой смерти, мысль, что она может умереть, повергала меня в отчаяние, но она к смерти относилась не столь мрачно. На мои неоднократные вопросы о том, что ее ждет там, пыталась дать мне ответ в образной форме, и всякий раз получалось одно и то же — состояние, выраженное в васнецовском поясе.

Заветной мечтой няни было окончить свою жизнь в богадельне. Богадельня ей представлялась некоей промежуточной инстанцией между жизненной тяготой и васнецовским поясом.

Надвигающийся голод испугал мою няню, и она ушла от нас. К этому времени Прошка как-то устроился, по няниным представлениям, даже роскошно. Его очередная дама служила на папиросной фабрике и зарабатывала не только своей красотой, но и товаром куда более в те времена стоящим — продажей ворованного табака. Теперь Прошка зажил по-настоящему. У него появилась возможность завести себе услужающего и одновременно отблагодарить старуху за ее прошлые о нем заботы. Бедная моя няня попалась на эту удочку. Живя у Прошки, няня, когда могла, забегала навестить меня и неоднократно настойчиво звала к себе, по крайней наивности я не догадался, что няня просто хотела подкормить меня. Этот визит остался мне памятен на всю жизнь. В том возрасте я, конечно, не мог понять смысла ситуации, в которой очутился, и эта неразгаданность делала меня беспомощным. Ощущение внутренней нечистоплотности воздуха этой большой комнаты буквально раздавило меня. Там все было под стать: и фикусы, и герани, и огромная кровать, убранная, как невеста, кружевами и

вышивками, и фотографии, веером висевшие на стене, и величаво покачивающаяся в качалке здоровенная, затянутая в корсет блондинка, и черноусый, подмигивающий мне Прошка, как бы говорящий: «Ничего, не робей».

Бедная моя няня суетливо накрыла на столе завтрак, а мне словно спазмом сдавило горло, и я не смог до него даже дотронуться. Наврав что-то про свой желудок, я, к великому расстройству няни, сбежал.

Дома, как я ни старался рассказать родителям о своем визите, у меня ничего толкового не получилось, одни междометия, но папа все понял и, потрепав меня по голове, сказал: «Очень пользительные впечатления, такие познания в университете не получишь».

Скоро в семействе Прошки произошла пьяная баталия, и моя няня, искалеченная и избитая, была выгнана из дому. Отлежавшись у соседей, она пришла к нам и попросила устроить ее в богадельню Как ни странно, маме удалось сделать это очень быстро. И заветная мечта няни была, казалось, осуществлена, но «мечта, как всякая мечта», надула мою няню...

Глава II

В жизни моих родителей была довольно длительная полоса «материальных передряг». Началась она задолго до моего рождения и более или менее пришла в норму около тринадцатого года.

Мне хорошо известна их фабула и та тяжелая атмосфера, в которой они проходили. Материальные средства моего отца состояли из небольшого, но достаточного капитала, помещенного в ценные бумаги и земли. На доходы с этого капитала и жили мои родители. Доход с земли был очень в те времена мал, особенно при заглазном хозяйствовании. Семья папиной сестры разорилась, ее муж, чтобы спасти положение, пустился в спекуляции, к которым он, русский интеллигент, был совсем не приспособлен. Понадобились деньги для того, чтобы как-то выкрутиться, и папа дал ему свое состояние. Естественно, что выкрутиться он не смог, и естественно, что состояние нашей семьи погибло. Оценить величину катастрофы можно было лишь во времени, а пока оставались в наличности только надежды. Жить же как-то было нужно: сесть на землю и заняться сельским хозяйством, но тогда — прощай скульптура, папа пойти на это не мог. Осталась возможность продажи земли. И началась постепенная продажа полтавской земли. Благо Запселье было не заложено и благо земля в тех местах стоила дорого, и не

меньшим благом было то, что запсельская земля была разбросана по разным местам. К концу первого десятилетия нашего века Запселье было почти прожито. Что делать дальше, было неясно, с заработком по скульптуре у папы в те годы было совсем плохо. К этому времени у моих родителей единственным, и то не вполне реальным, имуществом было довольно большое именье в Полоцком уезде Витебской губернии под названием Адамполь. Неполная реальность этого имущества была в том, что формально оно принадлежало папиной сестре, а ее кредиторы могли на это именье наброситься. Нужно было как-то юридически грамотно и безопасно переводить Адамполь на имя его настоящего владельца, то есть моего отца. Это было сделано около тринадцатого года. Папа не заплатил проценты по банковской закладной, и Адамполь был пущен с торгов банком, где папа его и купил по цене закладной, сделанной для обеспечения заблаговременно на его имя. Нереальность была и в том, что сам Адамполь был совсем «не подарок», именье было основательно заложено, земля там скудная, леса смешанные, болота и озера.

Эти материальные передряги были пережиты папой исключительно тяжело, настолько, что во времена самого лютого послереволюционного безденежья он при одном только воспоминании об этих давно уже бывших передрягах дергался. Потеря после Октябрьской революции всякой имущественной базы, и Адамполя в частности, была воспринята им с полнейшим безразличием. Со словами: «Туда и дорога, давно пора». К слову сказать, в папином отношении к этому вопросу нет ничего оригинального. Я хорошо знал самых различных представителей этого сословья, как тех, для которых их земля была лишь источником материальных благ, так и тех, для которых этот источник был родным домом, знал я и таких, кто всю свою жизнь ухлопал на хозяйственные заботы. Все они потерю земли восприняли пассивно и как-то равнодушно, исключение составляли лишь редкие «зубры»-помещики, вышедшие из крестьян. Остальные же были людьми интеллигентными и к потере своих «бывших привилегий» относились как к чему-то давно предрешенному. Литературный советский миф об озлобленности на власть людей исконно помещичьего происхождения за то, что у них что-то отняли, — это классовая ограниченность, просто авторы этого мифа судили по себе. Нелюбовь к новой власти могла быть, но совсем по другим мотивам.

Возвращаясь ко времени, когда папа остался лицом к лицу с Адамполем, добавлю, что папа утешался лишь временным компромиссным решением. Жить мы будем там лишь летом. В

хозяйственных делах папа не будет участвовать. Это целиком ложилось на плечи мамы и нашего управляющего. Часть адампольского дома приспособят под мастерскую, где папа будет лепить. Папа Адамполь не любил. Он давно уже соединил мысли о нем с мыслями о своем материальном разорении. Теперь же он согласился, живя в Адамполе, исполнять роль официального представителя. Он говорил: «В каждой уважаемой помещичьей семье есть всегда старший родственник на ролях официального главы. В действительности это «идиот в колясочке», при всяких официальных церемониях его вывозят, ему оказывают знаки уважения, а он должен всего лишь присутствовать и увозиться обратно. В хозяйственных делах Адамполя роль такого идиотика мне подходящая».

Земля в тех местах плоская. Огромные массивы почти нехоженых лесов прорезаны озерами. Поля, луга, много болот, бедные деревни, разоренные имения. Небо в тех местах кажется огромным, рисунок облаков — хрупким, постоянно изменчивым, чем-то похожим на перламутр. Глушь там в те времена была страшная, тишина мертвая; казалось, что ты на краю света или на дне морском.

К этим краям очень шли песни местных девушек, похожие на завывания, и вполне натуральный вой волков, под осень подходящих к самой усадьбе.

Отец, всей душой привязанный к горячо им любимой Малороссии, так никогда и не смог полюбить печальной и скудной природы Адамполя.

В большинстве нечерноземных губерний России земля давала мало дохода, на заведение какой-либо промышленности у большинства помещиков не было оборотного капитала. Они бились как рыба об лед, выкручивались как могли и наконец прогорали. Имения одно за другим продавались с аукциона за неуплату процентов по закладной. Отсюда частая в тех местах смена владельцев, отсюда и постепенное разорение имений. И отсюда же тот пестрый состав помещиков, совсем не похожий на культурную среду Полтавской губернии, среди которой вырос отец и которую считал своей родиной.

Большинство наших соседей по Адамполю были людьми неинтересными, скучными, а подчас и просто неинтеллигентными, погрязшими в тине жизни, озабоченными мелочными нуждами. Помню одного из таких, с пышной, видимо, местного происхождения, фамилией — Гедройц-Юрага, суетливого искательного поляка, с гонором и дурно воспитанного, настолько дурно, что это замечал даже я, маленький мальчик. Смутно помню и его поэтическую усадьбу, и

дом с гнездом аиста на крыше.

Единственная семья, с которой мои родители поддерживали постоянные отношения, были наши соседи Глебовы. Глебов был типичным русским интеллигентом, служил в Витебске инспектором гимназии и только лето проводил с семьей в Домниках. Внешность Глебова была соответствующая, он был неизменно серьезен, на мясистом носу — пенсне с обязательным шнурком за ухо; костюм сидел мешком, а брюки напоминали гармошку.

Я хорошо помню домниковскую усадьбу, совершенно разваливающийся дом, окруженный остатками хозяйственных построек, и большой запущенный сад, сбегавший к реке. В самом доме было пустынно и по-интеллигентски безбытно. Хозяева казались постояльцами, притулившимися как пришлось. Помню и обязательный в таких усадьбах зал с полусгнившими полами, и кучи яблок, наваленные по углам, а в окнах — красивый сумрачный сад. Была в этой усадьбе какая-то щемящая грусть, подобная той, что чувствуется в Кистеневке Дубровского. Трагедия, разыгравшаяся там, всегда ощущается мной как знакомая. Это неудивительно, так как подобных усадеб Пушкин видел немало, тем более что от описываемых мной мест до Михайловского не так далеко.

Не понимаю, как папа, такой чуткий и восприимчивый, не поддался редкому очарованию адампольской усадьбы. Думаю, что он просто боялся ее полюбить, твердо уверенный, что рано или поздно Адамполь постигнет участь Запселья, Морозовки, Таловой и других гнезд нашей семьи.

Построенная в самом начале девятнадцатого века, адампольская усадьба почти не подвергалась модернизации, только деревья поднялись выше, а постройки почернели от времени и глубже ушли в землю. Незатейливая и скромная, совсем небогатая, она, как случайный остаток другой эпохи, другой культуры, лежала забытая среди лесов и болот, на самом краю мира. Звуком онегинских строф, этого евангелия помещичьей культуры, был пропитан каждый ее уголок. Там было все, что дорого сердцу деревенского анахорета. Тенистый парк и широкие лужайки, маленький копаный прудик, густо заросший по краям, задумчивый и романтичный, и яблоневый сад с корявыми, падающими от старости деревьями, с патриархальной полуразрушенной банькой, и гнезда аистов на вершинах огромных лип.

Раскинутая на сравнительно небольшой территории, она вся была обнесена частоколом, может быть, единственным, сохранившимся до двадцатого века. Он состоял из толстых кольев

высотой не более семидесяти сантиметров и заостренных наверху. Были они вплотную пригнаны друг к другу и соединены врезанными в них шипами. В мои времена частокол этот почти весь сгнил и иструхлявился, накренился во все стороны, местами зиял пробоинами, серый до черноты, он покрыт был как корой пронзительно зеленым мхом и тонул в зарослях бурьяна. Удивительно вязался этот частокол со всем пейзажем усадьбы. Но особенно хорош он был в сочетании с липовым парком; его причудливые от времени, кривые, прерывистые зубчатые линии органически сливались с липовыми стволами деревьев и ослепительным золотом освещенной солнцем травы.

Парк в Адамполе был небольшой, разбитый по французской системе, то есть квадратами с лужайками посередине, его особенность была в том, что он разбит был двумя террасами на разных уровнях, террасы эти были соединены широкими замшелыми земляными ступенями.

Со стороны двора усадьба была окружена хозяйственными постройками, столь же старыми, как и все остальное, но еще крепкими и прочными. Далее шли избы «вспашников» и колодец журавлем. Кончалась усадьба большим проточным прудом — сажилкой, заросшей корявым и заржавленным ольшаником, а еще дальше была низина и начинались заболоченные луга. Там по осени, когда начинался отлет, садились аисты и бросали последний взгляд на усадьбу, где провели лето, чтобы унести это воспоминание к подножиям пирамид.

Теперь, по прошествии стольких лет, я догадался, почему мои родители постоянно ругали адампольский дом. Просто этот дом был создан для совсем другой жизни. Для жизни людей другой эпохи, совсем непонятного нам уклада, и этой жизни дом вполне соответствовал. К тому же адампольский дом умудрился также не претерпеть почти никаких изменений за всю свою долгую жизнь. Устраивающий людей своей эпохи, он был немыслимо неудобен, даже нелеп для людей двадцатого века.

Внешне адампольский дом был полностью лишен каких-либо элементов архитектуры как искусства. Фасадом он выходил на двор и был обсажен старыми березами, крыльцо поддерживали прямоугольные столбики-колонки, и если не считать, что окна были со ставнями и очень простыми наличниками, — вот, пожалуй, и вся его архитектура. Со стороны парка не было даже и этого, только окна там были гораздо больше да к дому была пристроена безобразившая его крытая веранда, впрочем, совсем простая. Веранда эта — единственная модернизация, которой подвергся адампольский дом в шестидесятые годы.

Комнат в доме было мало, и в то же время они были

непомерно велики, все, кроме одной, проходные. Причем дом был так хитро спланирован, что изменить что-либо было нельзя, не перестраивая всего дома. Очевидно, что функции комнат в начале прошлого века были совсем иными. В нашем смысле в адампольском доме просто негде было жить. Удивляли и названия комнат, в особенности при их малом количестве. Так, единственная не проходная называлась девичья, далее следовали людская, зал, садовая гостиная, комната с аркой и так далее, все в таком же отвлеченном роде.

Обстановка и вещи, наполнявшие дом, были сбором всех частей и всех мастей, геологическим напластованием быта за срок более чем в столетие. Здесь так или иначе присутствовали все стили, бытовавшие за этот период, и надо признаться, что не лучшими представителями. К тому же все это были инвалиды, по их травмам можно было догадываться об их прошлом и косвенно о жизни людей, чьими спутниками они были. Из всего этого барахла резко выделялись лишь вещи из запсельского дома, попавшие сложным путем и в разное время в Адамполь. На них лежала печать иной, более высокой культуры. В целом стиль адампольской обстановки отражал безразличие к художественной стороне быта — характерную черту конца девятнадцатого века.

Адампольская усадьба была создана любовью и культурой, то есть извечными создателями всякого искусства. Если в наше время спланировать и разбить красивый парк могут лишь исключительно одаренные люди, единицы-профессионалы, которых мы пышно называем художниками, то уж такова была особенность начала прошлого века, что это было доступно обыкновенным людям, даже не догадывавшимся о том, что их деятельностью руководит Аполлон.

Мне не чуждо стремление моих современников бежать от тяготы жизни за подкреплением «домой». Родной дом мы все находим в нашем прошлом. Говоря словами Б. Пастернака, это ангар, в который мы залетаем за бензином. Мой родной дом — в воспоминаниях об адампольской усадьбе, о дорожках парка, о солнечной мгле московской мастерской отца.

Наши родные дома существуют лишь в нашем воображении. Не приведи Бог кого-нибудь посетить эти места в действительности. Собственно, это лучшее средство потерять их окончательна и навсегда. Они живут в нашем воображении как зачарованные замки, в которых входы заросли крапивой и лопухами, а внутои все так же неизменно дремлет в ожидании нас. В действительности все будет иначе: ни лопухов, ни крапивы нет и нет вообще ничего. Мы увидим, что этот пустынный мир не имеет к нам никакого отношения, одухотворить его заново мы не

в силах. Наше собственное равнодушие поразит нас неизмеримо больше, чем то, что мы увидим. На счастье, жизнь застраховала меня от этой возможности: теперь, более чем через полвека, я случайно узнал, что на территории адампольской усадьбы выросло местечко в полторы тысячи дворов, что на месте старого дома стоит кирпичный двухэтажный клуб, что парка нет; вместо него там раскинулись больничные корпуса, и среди них одиноко доживают жизнь несколько никому не нужных старых корявых лип.

Глава III

Время отъезда в Адамполь возвещали мне голоса кур, которые вдруг, когда солнце все ярче и бесшабашнее начинало заливать огромные окна нашей столовой, начинали слышаться с мулицы. Неслись эти голоса из Кривоникольского переулка, из дворика при доме отца Алексея или из соседней с ним совсем крохотной лачуги просвирни, неслись они навстречу солнцу и лету. И в моем воображении сразу вставали березы со свежими ярко-зелеными листьями, разбросанными по голубому небу, и черные поезда, уходящие в синюю даль. То, что время неуклонно движется к отъезду, можно было заметить и раньше по участившейся переписке мамы прежде всего с нашим управляющим Индриком Индриковичем Сальменом. В письмах давались распоряжения по подготовке к нашему приезду. Также необходимо было узнать, нет ли в окрестных деревнях или в самом Адамполе заразных болезней или эпидемий, грозящих моей особе. А так как ближайший доктор был лишь в Полоцке, то есть за двадцать пять верст, приходилось беспокоить местного священника, единственную, так сказать, культурную единицу в округе, могущую быть в курсе этих дел. Но мамина эпистолярная деятельность возбуждала лишь рациональную сторону моего сознания, а слышавшийся в городском шуме куриный гомон действовал непосредственно через воображение; уловив его звуки, я знал, что отъезд уже начался, что я уже не совсем здесь и еще не совсем в Адамполе.

Покидая какую-либо местность ради другой, мы живем в этой другой в воображении, практически же мы теперь нигде не живем. Мир для нас теперь становится зыбким, а мы сами невесомыми. Нет никакой возможности сосредоточить внимание на окружающем, так как мы здесь сталкиваемся с тем, что оно теперь неуловимо и не до конца реально. Таким образом, уезжая, унести его мы можем лишь отчасти, и то в абстрагированном виде. Эта невозможность наглядеться на мир, который мы

покидаем, запечатлеть его и оставить этим способом при себе делает его вдруг единственным и неповторимым. Слишком поздно мы узнаем, что расстались мы навсегда, меняются обстоятельства, меняемся мы, меняется то, с чем мы расстались. Если нам суждено опять встретиться, окажется, что мы встретились лишь со старым названием, которое надо заново обжить.

С каждым днем предотъездные признаки учащались. Мама делала закупки. Покупались подарки разным лицам: управляющему и его семье, прислуге и даже тем работникам, с которыми более часто соприкасались. Дальше покупались новые предметы обихода: скатерти, занавески, столовая посуда, которой в Адамполе и без того некуда было девать. Словом, многое чего покупалось. Кофе поручали покупать нам с няней. Покупать его полагалось на Арбате, в магазине Ретере. Магазин был совсем маленький, плоскость дома, им занятая, была закована как в броню черными зеркальными вывесками, на которых округлым росчерком было золотом написано удивительное слово «Ретере». Из этой черной оправы глядели витрина и дверь, на их стекле тоже была надпись и тоже золотом, только сверкавшая не на черном фоне, а как бы парившая над таинственным сумраком недр самого магазина. Войдя в двери, вы оказывались в этом сумраке, и был этот сумрак темно-коричневым, а в глубине глухо поблескивал тем же червонным золотом. В магазине была тишина; покупателей я там не помню, тишина была наполнена тончайшими ароматами, пряными и бодрящими, ароматами сказочных стран.

Мы должны были попросить, чтобы нам сделали смесь, которую всегда для нас делают, и назвать свою фамилию. Мне казалось очень странным, что эти люди, с таким достоинством бесшумно скользящие в своем благоухающем сумраке, встречавшие нас столь любезно, люди, которые могут жить в этом удивительном мире, занятые таким значительным делом, знали не только нашу фамилию, но знали даже, какой кофе пьют по утрам мои родители. Они не только знали это, но по первой нашей просьбе бесшумно и снисходительно делали мудреное дело — приготовляли смесь сортов, названия которых состояли из слов удивительных. Мокко, менадо, бурбон и ливанский — я запомнил их на всю жизнь, как строчку гекзаметра.

Фирма «Ретере» была старинная и очень солидная. То, что там продавалось, было всегда самого высшего качества. Ретере не гонялся за модой, он был верен торговым идеалам своей молодости, идеалам времени дилижансов, времен мистера Пиквика, и знал, что на Арбате единомышленники найдутся и

придут к нему. В магазине Ретере не было ничего от легкомыслия Каде, от улыбчивости Сиу, от довольства и радости магазина Эйнема, его элегантность была старомодна, строга и корректна. Магазин Ретере был подобен экс-королю, проживающему на модном курорте; его благосклонная полуулыбка была чем-то надежнее демонстративной любезности президента республики.

Едва ли кофе у Форштрема был хуже, но природные москвичи, жившие в приарбатских переулках и знавшие толк в жизни, шли к Ретере, проявляя, таким образом, не только консерватизм, но и свою любовь к основательности. Совершенно невозможно было думать, что кофе, который мы там покупали, привозили в Москву каким-либо обычным и будничным способом. Нет, его добывали черные рабы на плантациях, его тащили на себе в караванах по пустыне слоны и верблюды, его везли в трюмах парусных бригов и корветов, бороздивших воды всех океанов под командой отчаянных негодяев, на судах, зафрахтованных отнюдь не купцом, а негоциантом господином Ретере для того, чтобы мы могли унести это благоуханное чудо домой в солидном свертке, обернутом в плотную коричневую бумагу и перевязанном накрест золотой шнуровкой.

Мама долгих сборов не любила: укладывалась в один день, и к вечеру прислуга сдавала все это в багаж. Таким образом, мы ехали уже налегке. В день отъезда распорядок жизни почти не менялся. Мама уходила проститься со своими в Столовый переулок и возвращалась незадолго до обеда. Еще до обеда мама извлекала из гардероба свой дорожный несессер, без которого мы никуда не ездили, и проверяла его боевую готовность. Боковая стенка у него откидывалась, и на ее внутренней поверхности, обитой красным бархатом, затянутые кожаными поясами, лежали хрустальные, в серебре флаконы. Мама наполняла флаконы, распечатывала мыло и прочее и затем открывала среднее отделение; подобное висящему в воздухе бархатному мешку, обычно оно было пусто; если опустить туда руку, казалось, что погружаешься в бархатную пену. Туда мама отправляла носовой платок, полотенце и дежурный том английского романа.

В бездомье пути несессер был как бы представителем дома, миниатюрным домашним очагом, взятым с собой в дорогу. Он дарил нас радостями, которые по первому взгляду кажутся слишком обыкновенными и незатейливыми, однако в условиях дороги эти радости выглядят совсем иначе. Оторванный от привычных условий, совершая полет в неизвестное, пролетая под грохот вагонов мимо новых и новых миров, я испытывал острое чувство счастья, когда мама, открыв несессер, сияющий бархатом, хрусталем, серебром, и смочив одеколоном платок, вытирала мое запылившееся лицо.

Мамин несессер хранил память о чудных странах, в которых ему довелось побывать и которых я никогда не видел и никогда уже не увижу.

Этот несессер так сжился с нашими поездками, что зависимость казалась обратной, казалось, что надо только взяться

за его ручку — и чудо случится. И не раз в жизни в хмурые и нудные дни, будучи уже почти взрослым человеком, я просил у мамы разрешения потрогать ручку несессера, делал это со страхом и надеждой. С годами я стал умнее, опытнее, иными словами, бездарнее.

Экипаж, поезд, самолет сменяют друг друга, появляются новые скорости, вместе с этим эволюционирует понятие красоты наших дорожных спутников. Теперь, пожалуй, и я начинаю понимать, что он нескладен, этот несессер, а все же, разматывая седьмой десяток, я нет-нет и провожу рукой по его коже. И моим сыновьям не понять, что вижу я в нем. Для них он лишь старая каракатица, предмет давнишней сентиментальной привязанности беззубого старика.

В день нашего отъезда обед проходил почти незаметно, чай подавали раньше обычного. В этот час наша столовая была вся в пятнах закатного солнца. Пятна горели и искрились на накрытом столе, на синем озорном трактирном храпуновском сервизе. Золото на чашках полыхало, темным огнем горел налитый в них чай. Этому световому спектаклю вторила приподнятость последнего перед отъездом московского чаепития и мамино оживление. Время отъезда наступало мгновенно; няня в детской надевала на меня пальто и на голову полосатый чулок с кисточкой, застегивала у горла пуговицу, и мы выходили в переднюю. Там, сложив руки на животе под фартуком, стояла идолищем Катерина в окружении такс. Выходила мама с несессером, в пальто, в голубой соломенной широкополой шляпе, отделанной искусственными цветами, с лицом, закрытым густой белой вуалью, повязанной на шляпке так, что кружевные концы ее, свисавшие вниз, ежесекундно меняли положение и как бы трепетали. И так же трепетали камушки на наконечнике булавки, закалывавшей мамину шляпу. Голубой, неправильной формы сапфир, из-под которого выступали два листика из мелких бриллиантов. Камушки эти, приспособившись к обстоятельствам света, вдруг вспыхивали и тогда становились похожи на стрекозу, засверкавшую на солнце. Мама давала Катерине последние наставления. Наконец появлялся папа, он тоже очень элегантен, высокий крахмальный воротничок подпирает лицо, усы закручены вверх, он в шляпе, в руках — чемодан и трость. Мама целуется с Катериной, и мы отбываем. Отбываем под полнейшую безучастность Катерины и такс, остающихся в Москве.

По улице мы шествуем так. Впереди, значительно обогнав нас, шел большими шагами папа, далее мы с мамой, шествие замыкала поджавшая губы няня с крохотным узелком в руках. Вспомнив о нашем существовании, папа внезапно

останавливался, упирался тростью в тротуар и со смехом смотрел на поспешающее за ним семейство. Остановка трамвая была на противоположной стороне Арбата. Семнадцатый номер вылетал из сумерек с грохотом, огнями и звоном и как вкопанный останавливался перед нами. Мы — в сверкающем, праздничном, почти полупустом вагоне. Я сижу впереди у окна, на коленях у меня несессер, я держу его волшебную ручку, и все, как всегда, сбывается. Мы со звоном и скрежетом летим по Арбату. Освещенные огнями витрины знакомых магазинов бегут нам навстречу и вот уже остаются позади. В свете витрин, в огнях фонарей, в светлых весенних сумерках движутся прохожие. Мы летим навстречу одним и с тыла догоняем других, но и те и другие, едва показавшись, остаются позади. Мы грохочем по Арбатской площади. Вот дом с колоннами и фигурами эскулапов, запирающий площадь, это Келлер, но мы поворачиваем налево, к церкви Бориса и Глеба, и, взвизгнув на завороте, со звоном устремляемся на Воздвиженку.

Этот призрачный весенний вечер, в котором все того и гляди растает и растворится, выманил эти многоликие толпы прохожих. Но они заняты отнюдь не им; он лишь река, по которой они текут. Каждый из них в отдельности несет свой единственный и неповторимый мир; в нем-то и заложен секрет, определяющий не только направление, но и цель движения его обладателя. Эти миры непроницаемы и таинственны, и лишь когда из сгущающихся сумерек выплеснется отдельный жест, фраза или выкрик, тогда на мгновение образуется как бы брешь, лазейка, которой пользуется моя бесцеремонная любознательность.

Городские чахлые липы еще не успели по-летнему пропылиться. Их зелень в искусственном свете вечерней улицы лишь угадывается. Виден трепет их листьев, утопающих в уже черном, как деготь, воздухе. Значит, мы проезжаем уже Мещанскую, видны силуэты казенных громад Крестовских башен, но мы заворачиваем налево вокруг жидкого скверика и останавливаемся у вокзала Виндаво-Рыбинской железной дороги.

Наконец мы в поезде, в купе международного вагона первого класса, самого совершенного, самого гениального создания музы дальних странствий. Я не берусь о нем говорить, в нем все поэзия, начиная от него самого, нарядного, удобного, горящего яркими огнями, и кончая его ритмическим полетом через мохнатые леса, прозрачные березняки, солнечные луга, реки, пашни и через непроглядную ночь.

Я лежу под одеялом, голова моя на подушке, за подушкой у наружной стены — несессер, поезд летит и поет свою песню. Сейчас вся задача в том, чтобы как можно дольше не заснуть. Но я

успеваю только отметить, как черная ночь за окном, через которую мы пролетаем, внезапно вспыхивает огнями освещенной словно для бала станции и как снова за окном наступает черная тьма. Слышу мамин веселый голос и немедленно и неотвратимо засыпаю.

Проснувшись утром, мы оказываемся уже в другом мире. Спокойнее и величавее разворачивались бегущие за окном леса и просторы, спокойнее и величавее стояли в небе застывшие облака. Субстанция извечная и безгрешная вставала перед нами. Суета мира оставалась позади.

В городе Великие Луки мы должны были пересаживаться на другой поезд, идущий по линии Бологое Седлицкой железной дороги. Здесь на дощатой платформе мы окунались в лоскутно-тряпичную бестолковую сутолоку и находили защиту от нее лишь в привокзальном буфете. В разные годы долгота нашего пребывания на великолукском вокзале была различна, но так или иначе она была лишь эпизодом, и скоро мы снова были в поезде. Мы опять покоряли пространства, но в смысле вагона это было уже как случится: международных на этом направлении не было, было, конечно, неплохо, но обычно. Ехать оставалось уже недолго, сколько помню, пять-шесть часов.

Поезд трусил, отклоняясь все дальше и дальше на северо-запад. Паровоз победоносно гудел над мирной землей, временами зачем-то восторженно фыркал, колеса стучали по рельсам, но так же неотвратимо бежало и время. Наконец появлялись названия станций, от звука которых учащалось биение сердца. Они врублены в меня топором, я помню их тоже как строчку: Невель, Опухлики, Дретунь и Полота. И где-то здесь вдруг, среди этих названий, среди самых обыкновенных лесов и полей, без всяких причин, просто так, ни с чего, без предупреждений лежало как брошенное великаном белое полотенце — красавец озеро. Появление его на нашем пути означало, что мы въезжаем в озерный край и что скоро мы будем дома.

После станции Дретунь мы были уже наизготовке. Беспокойство овладевало нами. Мама опускала вуаль, брала несессер, протягивала мне руку, и мы выходили в тамбур.

По-видимому, мы часто ездили в последнем вагоне, так как заднее окно тамбура я помню перед собой. Именно в нем я видел, как среди влажной травы лугов вдаль убегали рельсы, как, соблюдая равные интервалы, лежали среди зелени сложенные на лето, как картонные домики, лиловые железнодорожные заградительные щиты, как дрожали, растворяясь в синей влажной вуали, леса, луга и бесконечные дали и как среди них сверкали

огромные озера. В них лежало опрокинутое навзничь небо, в их лишь слегка подсиненной глади клубились розовые облака. Небесная благодать зримо сходила на землю, и от этого, как бы перекувырнувшись, небо и земля менялись местами. А среди этого не то неба, не то земли бурно и весело несся наш поезд и от избытка счастья беспричинно гудел.

Наконец, устыдившись собственной резвости, важно и зло фыркал, еще громче и протяжнее выл, осаживал скорость, чтобы затем торжественно и точно остановиться у платформы станции Полота.

Нас встречает управляющий Индрик в пиджаке и при галстуке, по жилету — цепочка часов, на нерусском бритом лице — пики усов, он, как всегда, сдержан. Вижу знакомые лица адампольских мужиков, колдующих в багажном цейхгаузе. С той стороны станции — площадь, такая же, как и все в России, и почти такими же они остались до сих пор. Там у коновязи стоят наши лошади. Рыжий Колька, наш любимец, косится своим гениальным агатовым глазом, пристяжная, серая в яблоках, изогнув шею, осторожно и нетерпеливо роет копытом землю. Роль экипажа выполняла у нас бричка конструкции допотопной. Разболтанная и нелепая, она честно выполняла свои несложные функции, а большего нам и не нужно было. До дому было всего лишь восемь верст. Застоявшиеся лощади бежали дружно, Индрик сидел за кучера, подбадривал их, бричка лязгала и позванивала на ухабах.

Как зачарованный я глядел на бегущую из-под копыт лошадей дорогу, на огромное перламутровое небо и вдыхал сладостный запах лошадиного пота, кожи и дегтя, растворенный в воздухе деревенских просторов. Бежали дороги, речонки, переброшенные через них полусгнившие бревенчатые мостики, перелески, овраги, луга и поля; мы все глубже и глубже въезжали в глушь российского захолустья.

Мама расспрашивала Индрика, хорошо ли у нас взошли яровые, как овес и что со скотом.

Папа сидел отчужденно, положив руки и подбородок на трость, покусывая ус, внимательно и неотрывно смотрел вдаль.

Постепенно дорога становилась ровнее и сквозь жидкий ольшаник уходила в большой казенный лес. Здесь не слышно цокота лошадиных копыт, не скрипит и не лязгает бричка, мы едем как по ковру. Мхи и старая хвоя мягко застлали здесь землю. Лес пронизан призрачным полусветом. Мачтовые великаны, дико заломив красные лапы, легко несут в небо свои равнодушные кроны.

Соборный полусвет кончается внезапно, и мы снова в

безжалостном свете дня. Бричка, миновав поле, въезжает в деревню. В этот час она безлюдна, как вымершая, только где-нибудь на задах в огороде мелькнет выцветшая бабья кофта. Зато собаки, давясь и хрипя остервенелым лаем, кидаются на бричку из всех подворотен. Осатанело захлебываясь от злости, они сопровождают нас, но стоит только выехать из деревни, они, мгновенно замолчав, как ни в чем не бывало бегут домой.

Дорога поднимается и заворачивает, мы на песчаном бугре. Это уже Адамполь. Пахота, справа очерченная узенькой ленточкой леса, спускается к заболоченным лугам, за которыми ярусами поднимаются амфитеатры далеких лесов; они громоздятся друг на друга, синеют и сливаются с небом, а левее встают зеленые кроны лип и серебрятся крыши строений: это усадьба.

На дороге — разномастная, разношерстная стайка адампольских псов. Как узнали они о нашем приезде? Они уже давно заняли этот форпост на дороге и глядят на песчаный бугор, из-за которого мы должны показаться. Наконец узнаны лошади, узнан Индрик, узнаны мы. И удалая ватага с восторженным визгом и лаем летит нам навстречу. Папа помогает какому-нибудь счастливцу впрыгнуть на ходу в бричку. И здоровенный псина в объятиях отца. Его восторг безграничен; он вылизывает физиономии и мне и папе, защищающему лишь шляпу. Мама, хорошо зная, что ее вмешательство впечатления не произведет, все же говорит для порядка: «Да перестаньте же, а то эти мерзавцы совсем обнаглеют».

Тем временем мы заворачиваем во двор и останавливаемся перед покосившимися колонками облупленного крыльца. Пока происходит церемония встречи с прислугой, собаки берут меня в оборот. Те, что поменьше ростом, стараются допрыгнуть до моего носа, а кто покрупнее, кладет передние лапы мне на плечи и старательно и всласть вылизывает мне уши и глаза. Наконец нянька уводит меня от собак в дом, куда им вход нерушимо заказан, — это уступка маме. Няня переодевает меня во все чистое, чтобы ни единой дорожной пылинки на мне не осталось. Тем временем привозят багаж, в дом втаскивают чемоданы и сундуки, идет обычная суета приезда, меня она не касается, я пробегаю насквозь весь дом, за зиму мы отвыкли друг от друга. Он кажется нежилым и холодным. Через гостиную, через террасу, пересекая палисадник, я бегу в парк, спускаюсь по замшелым его земляным ступенькам, чтобы одуреть от запаха ландышей, в изобилии растущих подле черных стволов, ощутить его вечернюю синеву, его сырую прохладу и оглохнуть от абсолютной его тишины. Дома в столовой из-под белого колпака висячей

керосиновой лампы льется свет на накрытый для ужина стол. Я сразу слепну от его белизны. Мы ужинаем, на столе самовар, окна настежь открыты, за ними черно. Вдруг папа настораживается: «Тише», — мы замолкаем и прислушиваемся. В парке поют соловьи.

Я погружаюсь в кисею сна, кисея растет и ширится, из нее начинает что-то лепиться, но что — не понять. Потом она вдруг обрывается, я в своей детской, в кровати. У окна на столе горит свечка и тепло освещает няню в синей кофточке, в белом кружевном переднике, такую нарядную. Она шьет за столом, а за ней на черном окне тюлевая в белых точках занавеска. Мерцают зажженные лампады, мерцают ризы икон.

Кисея опять обволакивает меня; окончательно же я просыпаюсь, когда солнечный свет уже водопадами льется сквозь мелкие листья старых берез, растущих за моим окном.

Глава IV

Вскоре после моего появления на свет семья наша переселилась в маленький домик в Большом Толстовском переулке, против того же круглого спасо-песковского скверика.

Собственно, это была целая усадьба, в которой стояли два крохотных деревянных дома: в одном жила их хозяйка Варвара Михайловна Базилевич-Коробкевич, а в другом поселились мы. Усадьба была типично старомосковская, с маленьким садиком, необходимыми когда-то дворовыми постройками, конюшней, каретным сараем, дровяным, просто сараем, просто погребом и специальным винным погребом. Словом, там была масса совершенно уже не нужного «сервиса», не было только электричества, водопровода и ватерклозета. Электричество заменялось керосиновыми лампами, водопровод — водовозом, каждое утро привозившим бочку воды, что касается клозета, то был он примитивным, как во всех старых московских особняках. Внутри дом был прелестный, с анфиладой комнат, голландскими кафельными печами и тем уютом, который бывает лишь в основательно, на века построенных деревянных домах. Моя память сохранила на редкость ранние воспоминания. Отрывочно я помню себя с двух лет. Хорошо помню и милый особнячок, тем более что уехали мы оттуда, когда мне было уже четыре года. Отсутствие комфорта меня не касалось, зато я, часами сидя у окна, любовался уличной жизнью, ломовыми извозчиками, их величественными звероподобными першеронами в кожаной сбруе, украшенной блестящими медными бляшками, и слушал, как гремели железные ободья колес о булыжную мостовую. Зато я

пил чай с вареньем, сидя на коленях Варвары Михайловны, за круглым деревянным столом в тенистом саду, в нескольких шагах от Арбата, того самого Арбата, который в девятьсот десятом году показался Льву Толстому Вавилоном.

Строительная горячка начала века меняла облик приарбатья. Гибли одна за другой без разбору старые и старинные усадьбы, усадьбы с облупленными домишками и с импозантными ампирными особняками, а на их месте выросли многоэтажные доходные дома с разномастными и разностильными фасадами. Капиталы, помещенные в домостроительство, давали очень высокий процент. От этого земля в центральных районах города поднялась в цене. Теперь Варваре Михайловне не оыло никакого смысла держаться за свои домики. Осенью она предупредила об этом моих родителей. Хотя торопиться было некуда, продажа могла состояться не раньше чем через год или два, однако родители воспользовались подвернувшейся возможностью, и мы в конце тринадцатого года переехали на новую квартиру в Серебряном переулке.

В Москве специальных мастерских для художников, а особенно для скульпторов, было очень мало. Мастерская отца до сих пор помещалась в доме Малевич-Малевских, отдельно от нашего жилья, это создавало целый ряд неудобств. Теперь представилась возможность не только иметь очень большую мастерскую, но еще и объединенную с квартирой. Сосватал все это моим родителям М. С. Шибаев.

В расстоянии трех кварталов от нашего особнячка была частная больница хирурга Сергея Михайловича Руднева. Рядом с больницей Руднев выстроил очень шикарный доходный дом. Столь буржуазно великолепных домов в Москве было совсем немного. Сверкающий зеркальными стеклами ерторанного типа подъезд. Далее шло огромное антре, в котором стоял торжественный швейцар в зеленой с золотыми галунами ливрее. Пологая широченная и тишайшая лестница на каждом марше освещалась большими венецианскими модернистыми окнами. Квартиры там были огромные, площадью около четырехсот метров. В них жили люди настолько богатые, что могли бы иметь собственные хорошие особняки, но почему-то предпочитали их не иметь. Все это были известности московского финансового мира. Доктор-ларинголог А. А. Лосев среди обитателей нашего дома был единственным интеллигентным человеком.

Последний, пятый этаж этого дома представлял из себя странную картину. Огромная четырехсотметровая площадь его была ничем не разгорожена и опоясана по всем сторонам дома сплошным рядом окон. Окна не имели простенков и начинались

на высоте двух метров от пола, сами же они были около трех метров в высоту. Руднев рассказывал, что этаж этот явился следствием внезапного психического заболевания архитектора Кекушева, создавшего эту нелепицу. Достоверно ли это, не знаю. Из этого помещения Руднев своим разумением с помощью подрядчика выкроил мастерскую и подсобные при ней помещения для Шибаева. Из него же была выкроена шестидесятиметровая мастерская для моего отца и при ней пятикомнатная квартира. Была она очень странная, с огромными коридорами, закоулками, разными темными помещениями неопределенного назначения. Выходила она на восток, юг и запад и всегда была залита светом и солнцем, а ночью по ней разбегались лунные дорожки. Но из комнат ничего, кроме неба да бегущих по нему облаков, нельзя было увидеть. Для того, чтобы убедиться, что ты не совсем оторван от земли и не плывешь непрерывно в неведомое, взрослым надо было просто подняться на какое-нибудь возвышение, например на стул, а детям вроде меня залезть на стремянку.

В этой квартире мой отец прожил до самой смерти, здесь прошли двадцать шесть лет, пожалуй, самых значительных в его жизни. Я прожил в ней более сорока лет, и немыслимый образ, который принимала по временам жизнь, прошел для меня больше всего именно в декорации тех мест. Но жизнь местности не бесконечна. Содержание, лишенное преемственности, гибнет, душа улетучивается, а оболочка от времени портится, разрушается и наконец вытесняется. Местность умирает, став чем-то совсем иным. Более двадцати лет отделяет меня от жизни в тех местах. Как мне сейчас назвать свое чувство по отношению к ним? Не знаю. Но сожалением это назвать нельзя. Лично для меня эти места изжиты, и с излишком. Смерть древнего парализованного старика — это только наведение элементарного порядка в мире, юридическая констатация давно свершившегося факта. Несмотря на кажущуюся нереальность времени, его убойная сила превосходит все наши представления и сравнима лишь с тем, что является следствием, то есть с Божественной мудростью.

Возвращаясь к описанию нашей квартиры, следует сказать, что, поднявшись на возвышение и взглянув в окно, можно было увидеть немыслимые конфигурации бесконечных крыш, заваленных снегом, провалы запущенных дворов, церкви, бесчисленные дома и домишки приарбатья и над всем как знамена — фиолетовые дымки из труб.

Когда же наступало тепло, папа открывал огромную воротину одного из окон мастерской и на железный метровый по ширине

карниз за окном выносил ящик. Там он сидел после работы иногда часами, курил, покусывал ус и смотрел по сторонам. Из пропасти вставало приарбатье. Среди горных кряжей железных крыш, среди отвесных обвалов многоэтажных зданий за особняками, как вода в низинах, широко разливалась зеленая листва садов. Там и сям сияли маковки церквей, в небо тянулись островерхие колокольни, а из низкого густого рокота города, из бесчисленных дворов вырывались как всплески тонкие пронзительные мальчишеские голоса.

Это и было приарбатье, и отсюда оно было как на ладони. С севера его ограничивали карнизы и крыши Никитской. С запада — скрытые за домами бульвары Садовой. Несколько южнее - синяя дымка заречных далей, самую реку на юге заслоняли высокие дома близ Остоженки, а сзади на востоке местность ограничивал Кремль.

По самому Арбату от Смоленского стояли чтимые москвичами церкви: Святой Троицы, Николы Плотника, Спаса на Песках, Николы на Песках, Николы Явленного. На Арбатской площади — преподобного Тихона и церковь Бориса и Глеба. А дальше по переулкам церкви шли в глубь приарбатья. На Молчановке — Никола на курьих ножках, Бориса и Глеба на Поварской, дальше Ржевской Божьей Матери, у Никитских ворот церковь Федора Студита, и местность замыкалась здесь Большим Вознесением. К востоку находился Никитский монастырь, далее церкви Воздвижения, Знамения, Антипия, церковь бывшего Алексеевского монастыря, на гранитных террасах-садах стоял грандиозный, на всю Москву сверкавший золотым куполом храм Христа Спасителя и вдали — церковь Ильи Пророка, Пречистенский, Зачатьевский монастыри, церковь Успения на могильцах, Иоанна Предтечи в Староконюшенном, церковь Власия и много, много других, не только уничтоженных и разрушенных, но даже и мной, очевидно, позабытых.

Красавица колокольня шестнадцатого века церкви Николы Явленного выходила прямо на Арбат. Между пузатых ее полуколонок был большой образ Николая Угодника — Спасителя на водах. Неугасимая лампада горела перед ним. Там, прислонившись к каменной стене постоянно стоял нищий, бывший солдат с какой-то медалью на шее. По-античному правильная русоволосая, русобородая голова его поражала своей красотой. Зеленые русалочьи пьяные глаза смотрели ласково и внимательно. В первые годы революции солдата не стало но вдохновенный лик святого Николая не оставлял своей молитвой глохнущую жизнь Арбата. И не раз одичавшие, загнанные ополоумевшие люди обращались теперь к нему за

заступничеством. И очень часто это были именно те люди которые всего несколько лет назад и перекреститься на улице считали чем-то ненужным. Что-то пророческое было и в этом образе, и в том, что находился он в самой середине Арбата. Глубоко символично что в начале тридцатых годов не стало ни этого образа ни самой красавицы колокольни.

В России не найти больше города с местностью, так многогранно связанной с культурной жизнью страны за последние два столетия. Бессмысленно повторять знаменитые и замечательные имена тех, кто жил там или тяготел к приарбатью, это все равно что переписывать телефонную книгу. Вдобавок к этому русская литература увеличила народонаселение милого ее сердцу приарбатья, заселив его своими вымыслами.

На Арбате тени наслоились на тени так, что он стал общежитием теней, общежитием, в котором во времена моего детства и юности жили духовные потомки этих теней, вполне реальные люди, ныне ставшие тоже невесомыми тенями. Но тенями стали не только люди, тенью стала и жизнь старого Арбата, его улиц и переулков, дворов, садов, церквей, квартир, особняков, магазинов, лавчонок. Тенью стал даже грудной сердечный голос его островерхих колоколен.

Арбат тех лет встает передо мной в пестряди вывесок, с разъезженными колеями заснеженной мостовой, когда великаны першероны везут гигантские полозья с поклажей, и их возница в черноовчинном тулупе возвышается над ними подобно своему античному прототипу. Этот огромный черный монумент стоит в скользящих санях, он больше домов, больше улицы. И пурпурно-оранжевый диск холодного зимнего солнца, закатываясь в низину Дорогомилова, кажется котомкой, заброшенной за спину угольно-черного героя.

Когда наступают ранние зимние сумерки, в маленьком церковном саду у Спаса на Песках тени на огромных сугробах синеют, а на снегу появляется темно-розовый отсвет. Уходящие в небо стволы лип становятся черно-красными, их бесчисленные тонкие ветви чернеют, а небо, по которому они разбросаны, становится дном огромной раковины. В окнах домов уже зажигаются огни. Вечерняя грусть уже впустилась на землю. В зарешеченном церковном окне угадывается теплая коричневая глубина и в ней — золотой огонек неугасимой лампады

Глава V

Утром летнего дня четырнадцатого года за окном одной из комнат адампольского дома возникла клокастая голова одного из

наших лесников. Свежих газет в доме не было, и призывная повестка в руках пришедшего попрощаться лесника заменила моим родителям газетные сообщения. Голова лесника рисовалась на кружевном фоне березовых листьев, утреннее солнце продираясь сквозь них, окружило его волосатую голову ореолом. Таким образом, первая в моей жизни историческая дата имела весьма выразительное обличье.

Как я теперь понимаю, война четырнадцатого года прошла не только мимо нашей семьи, но и мимо того круга людей, в котором мы жили. Правда знакомые молодые люди, вчерашние студенты, наряженные в военную форму и украшенные погонами подпрапорщиков, уходили на фронт, но убитых среди них было не так много.

В том круге людей, с которым я как-то соприкасался, к исходу войны относились индифферентно, никаких патриотических разговоров я не помню. Вероятно сказанное относится к большинству представителей верхушечного слоя русской интеллигенции. Словом, будущему историку будет над чем посмеяться.

Где-то уже в конце войны в Адамполь приехал в отпуск нянькин Прошка. Он был обуглен войной, словно приехал из адова пекла. Ночевал в бане, а днями воровато кружил по округе. Нянька пыталась узнать у него, как ему там живется, он только рукой отмахнулся — отвяжись, дескать.

Няня войну переживала по-своему. В ее понимании была для меня большая глубинность. Она переживала ее как общенародное страдание Было в этом что-то древнее, инстинктивное и для нашей земли справедливое.

В Адамполе мы с няней, если погода позволяла, ежедневно под вечер совершали ритуальную прогулку в сторону войны. Няня точно определила, что война находится на западе, и мы шли в направлении песчаного бугра, скрывавшего ближнюю деревню, четко рисовавшегося на фоне закатного неба. Шли по утоптанной дороге с глубоко прорезанными колеями, очерченными кипами подорожников. По краям дороги среди зарослей мяты поднимались кружевные лепестки полевых рябинок, точнее говоря, пижмы, с добротной желтизной своих плюшек-цветов. И я твердо знал, что там, в небе, за всем этим, — война, там то пекло, которое обугливает людей. Доказательством этому была светящаяся сукровица на небе, на которой застыла раздрызганная серебристая пена облаков.

В Москве каждый год в конце декабря мы с няней отправлялись на Арбат покупать новый отрывной календарь. Покупался не только сам календарь, но и картинка, на которую

он прикреплялся. Нянин выбор картинки в декабре шестнадцатого года пал на портрет государя. Картинка была очень шикарная, на атласной подкладке и, по-видимому, стоила дороже обычного. Николай Второй с голубой лентой через плечо, в эполетах и аксельбантах выглядел очень красиво, окруженный овалом из гербов, царств и княжеств, входящих в его титул. Гербы были тисненые, рельефные, окрашенные в цвета, им положенные, и по ним вилась Георгиевская лента. Словом, картинка была замечательная. Это был первый и единственный портрет царя в нашем доме, появился он перед самой Февральской революцией, а пережить ему довелось и Октябрьскую.

Отречение царя прошло у нас дома как-то незаметно. Папа с интересом читал газеты и наиболее значительные прятал, говоря мне: «Будешь старым, с интересом прочтешь». Но в этом он как раз и ошибся: не только литература эпохи «отречения», но и весь наш большой газетно-журнальный архив вызывает у меня не «интерес», а чувство гнетущего отчаяния.

По поводу этого отречения на кухне получил я совсем странную информацию. Катерина сообщила: «Николашка простак был, пьяница, потому и турнули». Няня, глядя на наш календарь, как всегда, не забыла всплакнуть, объяснив мне: «Царь-то он всегда царь, а как теперь народу будет жить? Кто палку возьмет, тот и будет командовать. Когда много начальников, народу хуже».

Весной семнадцатого года мы, как всегда, уехали в Адамполь. Там все было неизменно, события, волновавшие жизнь больших городов, казалось, совсем не интересовали деревню. Там по-прежнему над полями, лесами и топями этого скудного края стояло все то же огромное небо.

По-прежнему велись длительные переговоры между мамой и Индриком о том, как организовать покос, кого послать туда-то, и прочее. Потом огромные, как слоны, возы с сухим душистым сеном под вечер пересекали адампольский двор.

Жатва, самая напряженная из деревенских страд, была для меня самой праздничной. Атавистическое сознание ее исключительной важности владело мной. Я и посейчас не могу отрешиться от какого-то почти ритуального отношения к процессу уборки хлебов. Почтительное отношение к куску хлеба привито мне няней и веско подкреплено последующими голодовками.

Еще вчера на тихих и безлюдных полях легкий ветерок шевелил и укачивал усатые головы колосьев. Солнце благодушно изливало на них потоки своих лучей, белые облака медленно двигались по небу, ромашки и васильки гурьбой выбегали из золотистых зарослей на зеленую ленту межи. Весь этот мир и

даже я, его нескромный свидетель, составляли единое существо. Но это было вчера, а сегодня поля ожили, в них суетятся люди, на обритой щетине земли, как знаки, поставленные с определенными интервалами, ложатся совершеннейшие формы снопов. Мир преображается. Проходит несколько дней, в полях прекращается мелькание людей, хлеб уже в скирдах, завтра его начнут увозить. В вечер, когда хлеб убран, — праздник. Он идет издревле. Девушки и парни с песнями подносят помещику венок из ржи. Во времена родителей Татьяны Лариной все это было, вероятно, к месту или хоть как-то терпимо, но мои родители с трудом отбывали эту повинность, и отец стремился поскорее насыпать золотых в передник запевале на организацию традиционной праздничной пирушки. Весь этот церемониал происходил у крыльца адампольского дома и его покосившимся колонкам был все же сродни. Потом начиналась пора обмолота. На гумне рабочие лошади двигали допотопную крестовину, приводя в движение молотилки и веялки. В огромных сараях, во мгле, поднявшейся от серо-золотистых отбросов, разобраться было нельзя, только слышался ритмичный стук машин да по временам из мги выступали фигуры гигантов, поднимавших на вилы солому.

Потом была пауза, а дальше начинался сбор яблок, но это уже элегическая пора. Легкая сырость лежит неизбывно в саду, и желтые пряди старости вспыхивают то там, то сям. Я в теплом пальто, аисты улетели, скоро Москва.

В Адампole вопреки здравому смыслу было двадцать коров, продавать их продукцию было некому, а употребить самим невозможно. Как и почему сложилась эта цифра, сказать не могу, по-видимому, это сделалось само собой и во времени. Целые дни они паслись на выгонах, и лишь в полдень и на закате их пригоняли домой. В этом чередовании была торжественная размеренность, была она и в том, как медленно и величественно они входили в хлев. Вечный полумрак хлева казался древнее мира, он дышал, и жевал, и вздыхал, в приглушенности его звуков была подспудная сила. Подобно подводному миру, здесь был иной порядок реальности, предметы здесь, словно рыбы, выплывали из глубины и снова таяли в ней, контуры их лишь угадывались. Порой голова какой-нибудь рогатой животины попадала в скудный луч света и тогда возникала в такой невероятной реальности, что казалась невиданной и чудовищно правдивой.

Мир смешанных запахов: прелой соломы, навоза, сена и молока, — начинался за черными косяками хлева. Попав в этот мир и прижавшись к стенке, я мог находиться там до

бесконечности. Оторваться нельзя было не от действий и дел, там происходящих, а от покоя и мира, который, как волны, покачивался там. За раскрытой дверью бушевала озорная зелень травы, нестройно звенел легкомысленный мир, но сюда ходу ему не было. Ведь именно здесь два тысячелетия назад вторично родилось человечество.

Цветы в старых усадьбах всегда были приживальщиками. При разбивке парка о них, очевидно, не думали, а потому они теперь ютились где ни попадя. Цветы были плодом деятельности одинокого энтузиаста. С его смертью о них забывали. Цветы вырождались и десятки лет тянули жалкое свое существование. Новый энтузиаст пристраивал своих любимцев иначе, в других местах, но и их постигала в конце концов та же участь. В Адамполе я не раз натыкался на удивительные, ни на что не похожие кусты, кто они были — Бог весть. Но иногда на таком кусте появлялся непонятный и жалкий цветок, сообщавший о своем прародителе сведения весьма недостаточные. Встреча с подобным цветком была туманным, но единственным напоминанием о человеке, когда-то жившем, что-то любившем. Человеке, контуры которого стерлись не только для меня, но и буквально для всех. Только в старом парке среди травы и бурьяна вспыхивал розовым цветом маленький странный цветок, напоминавший потомкам о чьих-то пристрастиях. Сам воздух старых парков пропитан любовью, растраченной бескорыстно и нерасчетливо.

Но чаще всего в усадьбах сажались летники, цветы, не оставлявшие потомства, их названия и посейчас знакомы. Это все тот же набор, начиная с настурции и анютиных глазок до ни с чем не сравнимых маттиол. Но если названия цветов известны и поныне, то сами экземпляры были куда скромнее теперешних. Современный дачник, наверное, с презрением отвернулся бы от них.

Сейчас, когда я сижу и пишу, против меня в вазе стоит огромный букет гладиолусов. Черно-красные, белые, темно-лиловые, огненные чудовища разворачивают свои невероятные, непостижимые лепестки. Время от времени я отрываюсь от писания, чтобы взглянуть на это великолепие, по сравнению с ними мои старые знакомые были совсем замарашками, но между тем мое сердце и благодарная память принадлежат именно им.

Весну мы ждем томительно долго, и как бы неожиданно рано ни настал ее приход, это никогда не бывает достаточно рано. С осенью дело обстоит иначе. Когда же мы наконец замечаем золотую проседь, то оказывается, что уже давно были видимы явные признаки, что осень наступает. Заметив наконец это, мы

оказываемся уже в самой сердцевине осени, ее бег с каждым днем убыстряется, и нет никакой возможности наглядеться на ее несказанную красоту.

Мир как бы светится изнутри, ощутимость его берется под сомнение. Этот мир неустойчив, его нежность хрупка и капризна, прикасаться к нему невозможно. С осенним миром надо обращаться с великой бережливостью. Он может сгинуть, пропасть, как видение, исчезнуть от одной лишь нашей нескромности.

Парк погружен в легкую синеву сырости, воздух пуст и прозрачен, там и сям среди оливковой зелени сияют золотящиеся кружева сухих листьев.

По заведенному обычаю в день отъезда я бегу попрощаться со всем, что мне особенно дорого. Прежде всего на сажилку — большой проточный хозяйственный пруд. Один берег его гол, на другом растет группа небольшого ольшаника. Один из стволов согнут дугой и в нижней своей части, около корней, как бы повисает над водой. Если на него встать и обхватить дерево руками, можно ничего не видеть, кроме воды. Теряются масштабы, и уже кажется, что ты в безбрежном океане, наплывы воды превращаются в волны и ты плывешь по ним. Если быстро поднять голову вверх, то можно увидеть, как ржавые листья ольшаника и его застывшие в судороге ветви понесутся по просторам небес. Если бы этого не было в моей жизни, я был бы чем-то и как-то иным.

Встреча кончается в то мгновение, когда она произошла. Прощание конца не имеет, проститься ни с чем вообще нельзя. Но внешние обстоятельства идут нам навстречу и прерывают томительный процесс поошания.

Лошади стоят у крыльца, мама, одетая по-дорожному, прощается с прислугой, остались считанные минуты — я бегу в парк. Кроме мухоморов и аляповатых поганок, я не умел находить никаких грибов. Мама, великий специалист и любитель этого дела, была в отчаянии от моей бездарности. Меня самого также удручала собственная неполноценность. И вот первый белый гриб был найден мной в последнее мгновение моего пребывания в Адамполе. Он рос, упористо наставив на дорожку центральной аллеи свою толстую белую ногу. На коричневой его шляпке лихо прилепился сухой золотистый листок. Я так ошалел от этой встречи, что стал на колени и прижался губами к прохладной его шляпке. Сорвать этот прощальный дар земли я не решился.

Из-за стволов мелькали сверкающие голенища папиных ботфортов: он срезал в дорогу цветы. Бричка тронулась, собаки проводили нас до песчаного бугра и там остановились как

вкопанные. Мы въехали в деревню, собаки пропали из виду, а с ними и адампольская усадьба — и, как оказалось в дальнейшем, навсегда.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

В восемнадцатом году у маминых друзей Эвертов сохранился как-то довольно приличный выезд, они взяли меня однажды с собой покататься в Петровский парк. Только что прошел легкий весенний дождь, зашедшее за тучку солнце клонилось к закату, его розовая кисея светилась меж лиловых стволов, купола липовых аллей были еще ажурны. В бездонности пьяного воздуха была разлита грусть, та грусть, которая неизвестно почему находит на нас в светлые весенние вечера. Гравий сырых дорожек поскрипывал под колесами медленно двигавшегося экипажа. Гуляющих было мало, но все-таки они еще были. Одно время в ряду с нами ехала коляска куда элегантнее нашей; добротнейший кучер сидел на козлах, а в самой коляске на сиденье, как сфинкс, находился ее единственный пассажир — белый с рыжими пятнами английский бульдог. Он сидел раскорякой, изредка мигая умнейшими глазами, уверенно выставив вперед свой кирпатый нос.

В агонии отходил мир, в котором было естественно прогулять в коляске под вечер бульдога. Пройдет еще два года, и английский бульдог станет достоянием учебников не меньше, чем мамонт. Его послали проветриться, подышать воздухом, придет время, он вытянет лапы, положит на них свою круглую голову и не мудрствуя отдаст душу туда, откуда ее получил. Но его хозяева, наделенные способностью к отвлеченному мышлению, уже много месяцев как твердили вопрос: когда же этот сумасшедший дом кончится? Чем культурнее они были, чем логичнее рассуждали, тем дальше от истины был их ответ. Ни остановок, ни обратимости исторические процессы не знают...

Скоро теплая весна вступила в свои права, и папа настежь открыл воротину окна в мастерской. Я стоял в ее проеме не один. Кроме отца, там были Ольга Адольфовна Лори и скульптор Имханицкий. Ярчайшая зелень весенней листвы заволакивала белые стены и железные крыши ближайших особняков, за ними поднималась краснокирпичная стена многоквартирного дома. На одном из балконов стояла девочка, не знаю почему, я помахал ей платком, она деловито сунула руку за корсаж плиссированной юбки, вынула оттуда платок и стала махать мне в ответ. Ольга

Адольфовна подбодрила меня: «Действуй всегда в этом же духе. Смотри, никогда не зевай». Вскоре на этом же балконе появилась еще другая девочка, несколько постарше, и, поняв, в чем дело, тоже включилась в это занятие.

Прошли года, и поредевшая зелень не так уже ослепляла, потускнела и штукатурка домов, заржавели заплатанные крыши. Балкон стал складом домашнего хлама, непотребного вида тетки изредка суетились на нем. Прошли десятилетия, и я как-то увидел на этом балконе человека в белой майке. Он стоял, положив огромные колбасины своих рук на перила, курил и, изредка опуская голову, деловито сплевывал.

Беззаботная легкомысленность приветливой улыбки ушла из мира. То ли осатаневший от злобы мир не допускал приветливости, то ли недоверчивая подозрительность низов, с зоологической непреклонностью веривших, что человек человеку волк, родила злобу и страх.

Бегство из Москвы началось, очевидно, вскоре после октябрьских событий и на этом этапе было не слишком заметно, так как бежали в основном военные. Настоящий отлет начался вместе с появлением весеннего солнышка. Проходил он с соблюдением всех формальностей и более или менее в формах, принятых в цивилизованном мире. Отъезжающие имели не только проездной билет, но и документы, подписанные советской властью, а если вопрос отъезда выходил за пределы компетенции этой власти, то и документы, выправленные в Денежном переулке и подписанные всесильным тогда графом Мирбахом. Москвичи уезжали в Берлин, в «географическую туманность» Польши, в политическую туманность гетманской Украины, но уезжали и в пределы советской России, в провинцию, поближе к хлебу. Бежали одиночки, бежали целые семьи, иногда бежали почти что кланами.

Бежали те, у кого были средства там, куда они направлялись, бежали те, кто мог увезти с собой какие-то ценности, бежали те, кто увозил лишь свои таланты или хотя бы возможность заработать на хлеб, но бежали и те, у кого нечего было увезти с собой и кто ничего нигде не мог заработать.

Бежали те, кто рассчитывал где-то там беспечно существовать, бежали те, кто спасал свою голову, бежали те, чьей голове ничего не грозило, и, наконец, бежали те, кому отъезд из Москвы и бегство в неизвестное грозили неминуемой катастрофой.

Исходя из обычной логики, найти единый критерий для определения причины бегства нельзя. Много позже совсем при других обстоятельствах я догадался, размышляя по аналогии, в

чем тут дело.

Есть две резко противоположные породы людей. Одни на опасность реагируют действием, в данном случае действием было бегство, другие предпочитают встретить опасность в своей конуре, как бы говоря ей: «Ну что, пришла — жри и подавись». Здесь дело не в трусости и храбрости, здесь дело в характере и темпераменте да еще в «Чарльзе Дарвине».

Сначала уезжающие загодя предупреждали, что собираются удирать: рассказывали о бесконечных перипетиях, связанных со сложной и даже не всегда доброкачественной организацией этого мероприятия. Затем перед самым отъездом приходили проститься. Но чем дальше шло время, тем люди становились менее воспитанны и более скрытны. А еще позже без всяких предупреждений люди провалились куда-то в небытие, и лишь много позднее узнавалось, что они уехали на юг или на запад.

Придешь, бывало, к знакомому мальчику, живущему поблизости, войдешь во двор, изумрудом блестит трава, подозрительно не примятая, около дворницкой на веревке бесцеремонно проветривается лоскутное одеяло, парадный ход давно безответен, идешь через кухню, изменившаяся от бездействия доверенная прислуга, улыбаясь нехорошей улыбкой, сообщает, что господа уехали куда-то на юг.

Приарбатье в течение этого лета пустело буквально на глазах. Повальное бегство продолжалось почти до Рождества. Потом темпы снизились, а постепенно, с годами, бежать стало и вовсе некуда. Но и тут находились люди, которые при явной, казалось, невозможности все же куда-то бежали.

В начале весны восемнадцатого года вернулся с Дона младший брат мамы — дядя Коля. Студент-математик, он ушел добровольцем на войну с последнего курса и государственные экзамены сдавал уже, приезжая с войны на побывку домой. В октябрьские дни он, боевой офицер, был с юнкерами в Александровском, а в ночь подписания капитуляции ушел на Дон. Теперь он вернулся. Жил в Москве в квартире своей матери, уехавшей на Украину. Жил в семье сестры, тоже готовившейся к отъезду.

Однажды в тихом переулке близ Сивцева Вражка мы с мамой встретили оборванца, черты лица и походка показались знакомыми. Поравнявшись с ним, мама, вскрикнув от неожиданности, со словами: «Колюша, что за маскарад?» — принялась его целовать. Наша овация пришлась оборванцу явно не по душе, и, кое-как отшутившись, он постарался от нас отделаться.

Обеспокоенная этой встречей мама на другой же день

отправилась к ним. Застала дядю Колю сидящим за обеденным столом, перед ним лежала стопка книг, он делал на них дарственные надписи. Такое занятие ввиду его предполагаемого отъезда было вполне естественно. Мама так зачиталась одной из книг, что почти не заметила, как дядя Коля вышел из комнаты и прошел к себе. Через несколько минут оттуда грохнул выстрел, вбежавшие увидели его распростертым навзничь поперек кровати.

Менее чем через час Алексей Васильевич Мартынов и сопровождавшие его врачи констатировали: пуля прошла мимо сердца, рана сквозная навылет, если не задета брюшина, то скорей всего обойдется и так, если же пуля задела брюшину, операция не поможет, — так эти дела понимали тогда.

Признак перитонита — кровавая рвота, она началась через двенадцать часов, а еще через сутки он в страшных мучениях умер.

Он принадлежал к «потерянному поколению», то есть к людям, родившимся в девяностые годы. Правда, Гертруда Стайн не произнесла тогда этих роковых слов, правда и то, что судьба этого поколения у нас в России сложилась куда посложнее. Их юность совпала с исключительным напряжением в жизни страны. Опасность, игра со смертью позволяет ощущать жизнь с удвоенной силой. Стремление к риску есть одна из форм жизнелюбия. Всего этого дядя Коля хлебнул в короткий срок слишком много, слишком даже для людей его поколения. Удивляться, что в двадцать четыре года он надломился, пожалуй, и не приходится.

Похоронили дядю Колю на кладбище Скорбященского монастыря, с тех пор повелись наши с мамой постоянные путешествия туда. Ездили на трамвае. Потом, через год, трамваи вышли из строя, ходили пешком, шестнадцать километров в оба конца, да еще на голодный живот. Потом опять ездили на трамвае, а еще позже ездил уже я один.

Зеленая лужайка перед монастырем. Уже здесь воздух был совсем не городской, а пройдя за краснокирпичную казенщину монастырских строений, я попадал в прекрасный липовый парк. Народу там ни души. Под сводами лип тишина, зажатая сумраком, говорит о другом порядке бытия, города как не бывало. За парком начиналось кладбище, в дубовый крест над могилой дяди Коли папа врезал старинный бронзовый образок.

Только отчасти я ходил навещать трагедию, в гораздо большей степени я навещал энергичное, волевое освобождение от всяческой шелухи. С годами парк поредел, стал проходным, дубовый крест подгнил и обрушился, восстановить его не было средств. В начале тридцатых годов мания перестройки

уничтожила кладбище, и мне довелось в единственном лице присутствовать при эксгумации, а после сожжения того, что осталось, похоронить урну в Новодевичьем.

С тех далеких пор зародилось во мне недоверие к героике.

Грядущей зимы обыватели ждали со страхом, умные люди пророчили всякие ужасы. Холод, голод, репрессии стояли действительно на повестке дня.

Пыльные окна покинутых особняков тупо смотрели на улицу. В больших, многоквартирных домах наглухо забивали парадные подъезды. Теперь вход был через подворотню, и тогда открывалось уныние городских колодцев-дворов, безнадежность кирпичных брандмауэров, вонь помоек и обшарпанность черных ходов.

Еще весной, повинуясь поветрию, я со своим товарищем Сережей Р. и его сестренкой вскопал во дворе их особняка три грядки, дома нашлись огородные семена. Но в конце лета семья Р. уехала поближе к хлебу, особняк опустел. Осенью я пришел за своим урожаем. Две грядки были совсем пустые, а на моей росла чахлая ботва. Вышедший из избушки дворник мгновенно вытащил всю эту дрянь из земли, деловито отряхнул ее, завернул в газету и вручил мне, говоря: «Получай и питайся». При таких обстоятельствах я впервые включился в добывание хлеба насущного.

В это время с вопросом, как и на что пропитаться, дело обстояло сложно. У нас с деньгами было совсем туго, заработки отца с весны почти прекратились. В условиях растущих цен все равно любые заработки становились эфемерными. Мама не раздумывая продавала свои драгоценности, и мы как-то сравнительно нормально жили.

Если продажа имущества до некоторой степени отвечала на вопрос, как добыть деньги, то на другой вопрос — как и где достать продукты питания, отчасти отвечали спекулянты.

Спекуляция восемнадцатого—двадцатого годов явление совершенно исключительное. Боюсь, что потомство будет знать о ее деятелях лишь по плакатным штампам, и приблизительно не отражающим эти неповторимые персонажи. Никакая гипербола, никакая фантастика недостаточно крепки для изображения людей этого настоя.

Судя по внешности, насколько я вспоминаю, все они были ублюдками, но владели огромными познаниями в области элементарной психологии. Жизнь обожгла и закалила их, сделав идеальными инструментами для определенных надобностей.

Вы беспокоились за подорванные силы своих близких. Жизнь, как во время артиллерийского обстрела, держала про запас

ежеминутные сюрпризы катастроф. При таком положении в ваших глазах ценность любого «эквивалента» становилась вопросом третьестепенным. «Оставляй на столе то, что ты принес, бери в обмен то, что тебе нужно, а главное, поскорее уходи». Одно дыхание этих людей отравляло воздух.

Моя мама поражала своей расточительной сговорчивостью даже видавших виды спекулянтов, они любовались ею. Ей было абсолютно ничего не жалко, лишь бы сохранить улыбчивость жизни.

<…>

Глава V

Обвалом пришла на нас зима девятнадцатого года. Страшна была и сама зима и время, оно глядело на нас с безобразной по своей откровенности ухмылкой.

Словно замыслив недоброе, сообразило, что теперь церемониться уже нечего, что можно не лицемерить, и, заржав, показало клыки на глумливой своей харе. Правда, оно спохватилось, выдавать свои замыслы в расчеты его не входило, свершать же задуманное можно было#и с другим выражением лица.

За мою жизнь были времена куда хуже, и каждое показывало разный лик. Было, когда оно откровенно в огромных масштабах пожирало все вокруг себя, люди хрустели под его зубами, время чавкало, но тогда оно было занято делом, дорвавшись, нажиралось до отвала, и морда у него была тупо-серьезная, как у свиньи.

Голод наступил в эту зиму сразу, тоже обвалом. Без карточек уже ничего не продавалось, а по карточкам почти ничего не давали. То, что иногда, простояв несколько часов в очереди, получал, было почти несъедобно.

Спекулянты стали теперь редкостью, их с великим бережением передавали из рук в руки. Теперь, кроме спекулянтов и деревни, в Москве орудовали еще и мародеры особого рода. Это были служащие таких учреждений и в таком ранге, которым по штату полагалось получать особо большие пайки.

По своему составу народ это был разноперый, начиная от людей совсем темных и кончая хоть что-то относительно знающими. В основном это были приезжие. Войдя в доверие к власти, они получали большие квартиры, брошенные или реквизированные, устраивались с комфортом и вертели делами. Те из них, кто был поосведомленнее, устроившись, пускали в оборот свои продуктовые излишки и обзаводились павловской

или ампирной мебелью, портретами чужих прадедушек, старым фарфором, серебром с гербами и пр. Словом, это был признанный законом «нувориш» времен военного коммунизма. Среди его представителей была весьма ощутима прослойка, несущая на себе печать недавней черты оседлости.

Все мы трое по-разному переносили голод. Я был мал, вероятно, мне требовалось немного. Ел я всегда и впоследствии очень сравнительно мало и легко мог прожить день или два без пищи вообще. Таким образом, я этот голод и последующий, сорок первого года, перенес совсем легко. В этом смысле я оказался похож на маму. Она страдала лишь от отсутствия сладкого, сама же голодовка не влияла даже на ее всегда хорошее настроение. На отца голод действовал очень тяжело, но, как это ни странно, этот голод излечил его от многих болезней, портивших ранее ему жизнь.

Помимо физической, в голоде есть и другая сторона: он чудовище, и особенно всматриваться ему в глаза не стоит. Тем, кто не знает, что это такое, мне не объяснить, а те, кто голодал, поймут меня сразу.

С началом зимы пришел и топливный кризис. Теперь обитатели приарбатья облюбовывали для жилья самую маленькую каморку. Предметом мечты стала ванная с колонкой, но так как такая благодать была не у многих, обзаводились железными печурками, носившими название буржуек и пчелок.

Коленчатые черные змеи труб поползли по квартирам, ядовитая черная жижа закапала из змеиного тела, портя вещи и отравляя воздух. Воскрес древнерусский призрак угара, и стали уже поговаривать, что смерть от угара не так плоха, что посещают тогда человека чудные сновидения.

В буржуйках и пчелках сжигали мебель и вообще все, что подворачивалось под руку, настоящие дрова были редкостью, доставать их было сложно, к тому же стоили они баснословно.

В насквозь промороженных домах была реальна угроза, что выйдет из строя водопровод и канализация, и действительно около трети домов приарбатья лишились этих даров цивилизации.

Зимовать мы перебрались в детскую. Эта небольшая комната выходила в переднюю, ту и другую по возможности утеплили коврами. В детскую поставили мамину кровать, тахту для отца и мне маленький будуарный диван. В передней сделали что-то вроде столовой или приемной. Все стены сплошь завесили картинами, получилось даже красиво. В маленькой комнате поставили железную печку, ставшую на всю зиму центром нашей жизни. Печка была на ножках, толста, тупорыла и смахивала на

черную свинью. Ее хвост питоном поднялся под потолок и полез, тараня стену, в направлении дымохода. Зев печки папа выложил кирпичами, а ее верхняя плоскость раскалялась подчас докрасна. Золотое пламя полыхало в печке, весело потрескивало, сжигаемое блаженное тепло разливалось в пространстве, маленькая черная свинка энергично противоборствовала лютой стихии. Она стала четвертым членом нашей семьи. Одушевленность ее для меня была несомненна.

А снаружи за окном бушевала не только стихия зимы, но и стихия власти. Она на всех ступенях иерархической лестницы сыпала как из пулемета декретами, указами, приказами, постановлениями. Там было все: начиная от конкретных нужд сегодняшнего дня до попыток тут же путем указа построить совершенно новый мир. Только бессилие власти осуществить эти постановления еще как-то спасало население от полного истребления.

Если вообразить невообразимое, то есть собрать воедино все приказы, в правовых рамках которых должна была жить Москва этой зимы, то очевидно оказалось бы, что гражданин вообще не имел права что-либо делать кроме как околевать от голода и холода.

Эти приказы родила стихия, а стихию мерзило от вида живого человека. Человек же хотел во что бы то ни стало жить и делал все, что ему было необходимо, махнув рукой на всяческие приказы и на последствия, проистекающие от их нарушения. Неуважение к закону родилось из его противоречивости и невыполнимости.

Помимо непосредственной опасности, которая проистекала из этих указов, было и нечто другое: они родили как бы ощущение неполной законности самого факта твоего существования. Обстоятельство крайне существенное, значение которого осознать довелось лишь значительно позже.

То, о чем я говорил выше, имело все-таки форму вполне определенных документов, но кроме этого еще существовало весьма ощутимо и нечто расплывчатое, неопределенное, я имею в виду то, что называлось революционным большевистским самосознанием. Это нечто зависело от умственных, культурных или моральных качеств его носителей. При соответствующем стечении случайных и неблагоприятных обстоятельств вы могли попасть в зависимость от вдохновенного произвола дикаря.

В соответствии с остальным действовали в ту зиму и эпидемии, среди них наибольшим престижем пользовались испанка и тиф. Чуть не ежедневно приходили известия, что что-то с кем-то случилось, то с близким знакомым, то с человеком,

которого вы знали, или с кем-то, о ком знали лишь понаслышке.

С кого-то сняли на улице шубу, кого-то выселили из квартиры, кто-то тяжело болен, кто-то умер, у кого-то был обыск, кто-то посажен в чрезвычайку, кто-то расстрелян; кто-то, просто не выдержав, как Стахович, покончил с собой.

В такой обстановке жили более или менее все люди близкого нам круга, одним было по каким-то причинам полегче, другим потруднее.

И образовался в ту зиму некий вакуум, не помню, сколько времени он продолжался, вероятно, недолго, недели две, может, месяц, и понятия не имею, с чем он был связан. Вдруг как-то оборвалась ниточка, связывающая тебя с другими тебе подобными. Наступило разобщение, и пустота начала покрываться льдом. Люди, живущие за два переулка от нас, оказались за тридевять земель, вне пределов досягаемости. Когда вакуум лопнул, распался, появлялись словно после кораблекрушения, исхудалые, изменившиеся. В их глазах читался вопрос: живы ли все? Как-то в конце этого вакуума в дверях появилась волосатая и бородатая голова философа Николая Александровича Бердяева, родителей дома не было. Тогда я уже начал болеть болезнью, портившей мне жизнь на протяжении двух десятилетий, болезнь эту Булгаков приписал Понтию Пилату и назвал ее гемикранией. Но запах роз тут был неповинен. В эти времена цветы вообще были забыты, а их запахи и тем более. Мою болезнь называли тогда малярией, но от этого мне было не лучше. Я принимал Николая Александровича за ломберным столом в передней, голова моя раскалывалась надвое, гость временами плавал в тумане. Глядя на меня и предавшись ходу собственных невеселых мыслей, философ заплакал. Он задирал голову, отворачивался, но поняв, что привести себя в порядок он уже не может, встал, вмонтировался в свою шубенку, нахлобучил меховую шапку, погладил меня по плечу и молча ушел.

Под стать всему была и улица, заметенная снегом, в огромных сугробах, пустынная. Отступившие за сугробы дома смотрели пыльными мертвыми глазницами. Было тихо, трамваи со своими звонками ушли в небытие, лошадей почти не было, лишь изредка безобразно гремел спешно ковыляющий грузовик.

Бесцеремонно обнажились для всеобщего обозрения потерявшие свои заборы сады приарбатья. Зима еще кое-как защищала их целомудрие, но, занесенные снегом, они все же избороздились пешеходными тропами, внесшими исправления в коммуникации проходных дворов. Знакомые улицы и переулки стали иными, словно то, да не то. Только по-прежнему из глубины садов с вершин лип с гомоном поднимались тучи ворон

и галок. Когда к концу дня небо, подмазанное клюквенным соком, светилось сквозь черные ветви деревьев, становилось совсем неприятно.

По-прежнему нерушимо стояли лишь разбросанные по приарбатью церкви, по-прежнему сияли их купола, по-прежнему плелась их пол у во сточная архитектурная вязь. Стояли они заметенные сугрббами, покрытые шапками снега, под охраной лип прицерковных дворов. По-прежнему с первым ударом колокола с колоколен слетали птицы, по-прежнему гудели или весело перезванивали колокола. Молчал лишь Кремль, самые чтимые храмы России стали теперь недоступны для москвичей.

Мерцали огоньки свечей и лампад, сверкали на ризах, дробясь, переливаясь, бежали вверх по резьбе алтарной преграды туда, где все растворялось в синих струях света.

Церковь молилась почти так же, как два тысячелетия назад, и произносились там все те же слова, огромные и неизносные. В дни небывалой дешевизны слов, в ожидании времен, когда слова вообще потеряют смысл, церковь говорила понятиями точными и огромными.

Слова, идущие от истоков христианства, произносились в церквах Москвы и в четырнадцатом веке, и в страшном шестнадцатом, и во время последней московской чумы в восемнадцатом веке, произносились в тех же церквах и часто в том же окружении. Теперь, в эту зиму, знакомое вчера, слишком знакомое, приобретало характер почти откровения.

Дьякон во время литургии воздвигает моления:

«О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся», «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью».

И звенят голоса хора:

«Господи, помилуй»,

«Дне всего свершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим».

И в синюю высь уходят голоса хора:

«Подай, Господи»,

«Христианския кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на Страшном Судищи Христове просим»,

«Подай, Господи».

Вот именно «непостыдной кончины мирной». Боже мой, какой реально понятный, насущно важный смысл приобретали слова эти для вчера еще легкомысленного и равнодушного слуха. И опять дьякон, подняв перстами орарь наподобие крыла серафима, возглашал:

«Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим».

Старая жизнь улицы постепенно совсем умерла. Улицы стали большими дорогами, необходимыми коммуникациями. Мертвые лавчонки с ободранными вывесками напоминали о прошлом, ставшем далеким и малоправдоподобным. На улицах не было гуляющих и зевак, все куда-то спешили с рюкзаками, сумками, салазками. И внешне публика посерела, одежонка старая, дооктябрьская, чуть-чуть нелепая, и уже стало казаться, что одежда простонародья как-то добротнее, оправданнее, уместнее и потому, пожалуй, даже красивее.

Именно в эту зиму увиделось, что в жизни случилось что-то радикальное, что-то сошло с нарезки, и приарбатские улицы и переулки, запутавшись в собственной сети, пошли блуждать вслепую. Сослепу они натыкались на каменные стены домов, поворачивали в сторону и машинально описывали петли. Скособочившаяся жизнь двигалась, ковыляя, по одной оси, а улицы блуждали по другой. С этого началось разобщение с местностью.

Обитатели муравейника вдруг в силу каких-то причин превратились в другой вид насекомых, обладающий другими особенностями и потребностями, старый муравейник они могли лишь использовать, в целом он уже совершенно не соответствовал характеру жизни этих новых насекомых.

Моя школьная жизнь продолжалась, но обрела она в эту зиму те формы, в которых и пребывала до конца моего среднего образования. Ходил я в школу, когда мне вздумается, часто по неделям сидел дома или выполнял какие-то функции, к науке отношения не имеющие. Сколько я ни пытался сосредоточить свое внимание на том, что говорилось в классе, ничего из этого не получалось. Как ни страшна была жизнь, но все в ней было так глубоко, так значительно, а то, что говорилось в школе, было так плоскодонно, так ни к селу ни к городу.

Я был маленьким мальчиком, меня посадили за парту, заставили слушать, слышанное запомнить и затем повторить, но именно слышать-то я и не мог. Как только начинался разговор про какого-то идиота, вышедшего из точки А, я мигом выключался и оказывался во власти своей фантазии.

Я видел, что мои школьные дела запутываются, что учителей моя деятельность просто пугает, и честно старался как-то вслушаться, вникнуть в то, о чем говорилось, но чем больше я старался, тем меньше у меня это получалось. И все же бывали часы, когда совсем помимо моей воли что-то в моих ушах прочищалось, тогда я слышал урок и так же помимо воли

запоминал его от первого до последнего слова. Учителя издавна остерегались меня вызывать, но все же это случалось. Иногда случайность падала на счастливо запомненный мною урок. Отсюда пошла репутация способного, но лентяя — и то и другое неверно. Из школы я не вынес никаких познаний и нисколько об этом не жалею, единственно что меня сильно стесняет и по сей день, это моя феноменальная орфографическая безграмотность.

Окончил же я среднюю школу лишь благодаря тому, что на моем пути попадались учителя, почему-то подозревавшие у меня наличие каких-то скрытых достоинств.

В эту зиму мои выходы во внешний мир носили самый разнообразный характер. Не раз случалось мне бегать по отцовским поручениям в Румянцевский, в Третьяковку, к кому-нибудь из скульпторов, преимущественно живущих неподалеку; приходилось выстаивать в бесконечных очередях за хлебом, за постным маслом, а к весне, когда отцу стали давать академический паек, то и за ним. Знаменитый этот паек — понятие не стабильное. Он варьировался во времени и имел разные категории. То, что мы получали, было хорошо, но абсолютно недостаточно. В эту зиму я припоминаю себя, везущего на дровяных санках какую-либо поклажу. По разъезженному снегу санки идут хорошо, но там, где проступала поверхность булыжной мостовой, их уже не протащишь, идешь, приглядываясь к особенностям поверхности, и варьируешь дорогу. Что-то носить на себе или возить на санках было в те годы как бы функцией обывателя, мне это занятие даже нравилось: цель его ясна, а польза для всех несомненна.

Довелось мне в ту зиму получать как-то разовый паек даже в реввоенсовете. В этом помещении совсем недавно была, очевидно, самая обыкновенная обывательская квартира. Теперь в заставленных столами комнатушках галдели и суетились служащие, угарно дымила кирпичная развалюха печка. Из-за стрекочущей пишущей машинки стриженая девица кричала по-попугайному: «Веня, откройте форточку, мы здесь задохнемся!»

Хлопали двери, кто-то надрывался у телефона. Достоевский, без которого на Руси ничто не обходится, сработал и здесь. Оказалось, для того, чтобы вынести паек с территории этих зданий, нужно иметь пропуск, а для пропуска нужно иметь документы, коих у одиннадцатилетнего мальчика быть не могло. Сразу возник принципиальный содом, дискуссия звенела на все голоса, и я явственно уловил слова «удостоверение личности». Почему-то меня это слово сильно задело, и не раздумывая я вмешался в спор, заявив, что «личность моя присутствует собственной персоной, и никакие бумажки не могут сделать факт

моего существования более действительным». Выступление мое было беспомощно глупо и вообще не нужно, но произвело оно буквально сенсацию. Кто-то протяжно засвистел, кто-то даже схватился за голову, а кто-то по-мефистофельски захохотал. Из соседней комнаты выскочило начальство специально на меня посмотреть, узрев, изрекло: «Ну и ну!» — и, тряхнув косматой головой, включилось в дискуссионный галдеж.

Все это были относительно молодые люди, вероятно, и без моего содействия они понимали, что что-то не совсем так, ведь мир спятил с ума сравнительно еще недавно.

Темп в работе отца, взятый в предреволюционные годы, продолжался и после революции, но в эту зиму он заметно спал, сил уже явно не хватало. Все же папа поставил в мастерской хрохотную чугунную печку в форме цилиндра, отопить шестидесятиметровую мастерскую она не могла, около нее можно было греться как у костра. В сфере ее теплоносности он вырубил из мрамора и алебастра несколько вещей по старым этюдам обнаженного тела. Рубка из «камушка» позволяла ему хоть на время выключиться и почувствовать, что он все же живет на свете.

Как все тяжелое, зима эта тянулась долго, но так же, как все, прошла наконец и она, солнце опять водопадами полилось в огромные окна нашей квартиры, ее ледовые просторы постепенно оттаяли, затворничество наше окончилось. Кажется, никогда в моей жизни приход весны не был столь животворен, с уходом зимы началось некое подобие жизни.

<…>

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I

В эпоху так называемого нэпа жизнь подавляющего большинства интеллигенции как-то наладилась, вошла в берега. Не говоря о столь ценимых в те годы инженерах, даже обыкновенные служащие зарабатывали достаточно. Люди свободных профессий тоже приспособились к новым условиям, а некоторые из них существовали почти роскошно.

Что касается самого существа деятельности интеллигенции, то на первых порах в первые годы нэпа здесь все обстояло вроде как благополучно. Многие преграды, которые существовали благодаря рутине старого режима, рухнули вместе с революцией, а новые еще не успели укорениться или еще только нарождались. Так что большинство интеллигентов тогда с успехом могли заниматься своим делом. Вся эта публика во многих поколениях

была воспитана на вражде к старому политическому строю России, напичкана идеями «свободы, равенства и братства», помешана на уверенности в собственной ценности, на том, что она «соль земли», что ее дело учить, просвещать народные массы и даже давать советы самой верховной власти.

Что же, описываемый период устраивал более или менее большинство интеллигенции. Тогда у верхов власти, да, пожалуй, и не только у самых верхов, стояли не ненавистные самоуверенные тупые царские бюрократы, а люди более или менее интеллигентные, с которыми сговориться всегда было возможно. Учить, просвещать было не только возможно, но за это даже платили, равенства и всяческой справедливости было, пожалуй, даже с излишком, во всяком случае на словах. Кошмары военного коммунизма кончились, и большинство было уверено, что это уже навсегда. Так что живи, работай и жди еще лучших времен. Правда, со свободой творилось нечто нелепое, но это стремились не замечать, к тому же людям хоть сколько-то образованным было известно, что само-то понятие это до того странное, что даже философия в лоб к нему подходить не решается. Правда, и советов по серьезным вопросам верховная власть у интеллигентов не спрашивала, но с этим уж, хочешь не хочешь, приходилось мириться.

Так что в те годы приятие советской действительности было, пожалуй, доминирующим настроением среди русской интеллигенции. Уже сплошь да рядом раздавались фразы, что все случившееся надо принять не только как исторический факт, но елико возможно к этому случившемуся приспособиться, внутренне сжиться с ним, что надо идти в ногу со временем, что надо мыслить более крупными категориями. Даже в начале тридцатых годов многих интеллигентов буквально корежило, как только они сталкивались с критическим отношением к существующему.

Подобное отношение к жизни в те годы имело бесчисленное количество оттенков, перечислить даже те полутона, которые мне были хорошо видимы, я, естественно, не могу.

Все ли русские интеллигенты были таковы? Конечно, нет. Среди них были и люди совсем другого плана, их было в двадцатые годы не так много, но они все же были. Это были люди, которые ни себе, ни другим не замазывали глаза на происходящее, люди, которые стремились, насколько это было возможно, трезво оценивать окружающее. Сказать, что они предвидели то, что нас ожидало в дальнейшем, я не могу, но люди эти понимали, что разрушительная стихия не исчерпана, а механически загнана вглубь. Понимали они и то, что если вчера

злоба и ненависть могли свободно развиваться на поверхности, то сегодня они должны были все-таки считаться с новыми обстоятельствами и по возможности не выходить за грани оставленных им властью русел, что от этого человеконенавистничество не только не ослабло, а скорее наоборот: настой его становился все гуще. Перед этими людьми стоял все время вопрос, сумеет ли власть обуздать эту стихию и хочет ли она действительно серьезно ее обуздывать.

Люди эти смотрели на все виды мимикрии, приспособленчества, с омерзением и видели выход лишь в том, чтобы елико возможно оградить себя и свое дело от воздействий извне. Собственно, отсюда и пошли истоки того явления, которое впоследствии получило название внутренней эмиграции.

Настоящая эмиграция, отъезд на Запад, в двадцатых годах была в том кругу, в котором я жил, явлением сравнительно единичным. Большинство окружавших нас людей предпочитали встречать лихолетье у себя дома. Помню возмущение Бердяевых, когда их и целый ряд лиц правительство высылало в административном порядке за границу.

Как ни единична была тогда эмиграция, все же она смыла с горизонта нашей семьи многих близких людей, и, как оказалось, смыла их для нас навсегда. С ходом времени утрата многих из них оказалась весьма ощутимой.

Тема жизни людей в действительной внешней эмиграции мне неведома, зато я могу рассказать о явлении, кажущемся мне не менее любопытным, — о реэмиграции.

С начатом нэпа стати появляться многие старые знакомые, о которых давно уже ничего не было слышно и которые стати как-то позабываться. В свое время бежали они из Москвы от страха надвигавшегося голода, в чаянии где-то спокойно отсидеться. Теперь одиссея их окончилась, возвращались они из бывших когда-то хлебных губерний, в которых теперь добывать хлеб было весьма затруднительно, из Крыма и с Кавказа, до которых докатились они с лавинами отступающих белых армий, и даже с Принцевых островов, на которые я уж и не понимаю, как их занесло. В большинстве случаев их бывшие обитатища оказались занятыми, а имущество, пусть нехитрое, но все же необходимое, оставленное на попечение доверенных лиц, оказалось расхищенным. В условиях кочевой жизни в захолустье им пришлось так перефасонить свои специальности, что стали они хлебодобывающими. Теперь, очутившись опять в Москве, они с места в карьер должны были обивать пороги в каких-то заплеванных учреждениях с надеждой добыть хоть некое подобие домашнего очага и хвататься за первую представившуюся

возможность как-то рентабельно применить свою специальность или за неимением таковой хотя бы свою интеллигентность.

Москва, в которую они теперь вернулись, была не той, из которой они бежали: коченеющая, умирающая, насмерть напуганная большевистскими декретами, — совсем не той знакомой, родной дореволюционной Москвой, в которой им так легко когда-то жилось. Теперь это был совсем другой город — нэповский, в котором намешано было всякого. И вот здесь-то им предстояло начать жизнь чуть ли не заново, не имея опоры в потерянных первоначальных позициях. Но со временем все это как-то утряслось, и жизнь вошла хоть и в новые, но все же в какие-то берега.

Внешне публика эта выглядела полинялой, облезшей, вроде как опростившейся, и, глядя на них, думалось: «Неужто они такими тусклыми, будничными были и раньше?» Но и это со временем, в годах как-то сгладилось. Но кое-что, отличающее их от тех, кто сидел все время на месте, осталось в них навсегда. Это кое-что было чем-то глубоко внутренним, я не умею эта назвать иначе как образованием души. В этом-то образовании у них навсегда остался некий пробел. Многое можно понять уразуметь с чужих слов и даже при помощи книг, но уразуметь — это не пережить. Вот этого пережитого, что входит как компонент в образование души, у них как раз и не хватало. Странное дело. Ведь, казалось, пустяк. Человек всего-навсего два-три года отсутствовал, к тому же годы эти здесь, в Москве, были трудные и страшные, ведь казалось, что слава Богу, что кому-то удалось отойти на время в сторону и там переждать, но на самом же деле оказывается, что совсем это не так. Оказывается, что есть такие эпохи, такие года, такие события, которые, как бы страшны и трудны они ни были, исключительно важны именно для души человека. Именно в такие времена что-то совсем безотчетно нами понимается, что-то в нас складывается, спрессовывается. Правда, в подобные времена надо суметь выжить, что трудно, не отупеть и не сдаться, что, понятно, еще труднее.

Есть тут одна странность, но если вдуматься она сама по себе способна объяснить многое. Ведь в тех местах, куда эти люди бежали в погоне за хлебом и спокойствием, они ни того ни другого за редким исключением, не нашли. Чаще нашли даже нечто прямо противоположное По-видимому, здесь, в центре, коллизии катастроф, нас окружавших, были в масштабах мировой трагедии. Трагедии, подобной шекспировским, значение коих общечеловеческое.

А мы, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,

Мы ни единого удара
Не отклонили от себя

Помимо слов Достоевского что «в страдании есть идея» здесь у Ахматовой есть нечто и другое, нечто помимо страдания, некая активность в отстаивании своего права, своей обязанности сохранить «душу живу»

Можно добавить что подобная же нехватка не раз замечалась у людей, проживших на Протяжении большевизма лет пять даже в таком центре мировых идей как Париж. Хотя это и звучит дико однако даже у этих людей всегда заметен некий оттенок провинциализма.

По-видимому именно здесь «в глухом чаду пожара» в разные времена незримо возникали мировые столицы

Более всего в поле моего зрения находились люди, так или иначе связанные с искусством. Изобразительное искусство естественно может развиваться, жить, расти лишь внутри культуры, культура же умирала по мере приближения к тридцатым годам. Несомненно, что в те годы искусство в России было, но было это искусство одиночек, разобщенных между собой, забаррикадировавших свою жизнь и работу от времени. Единиц этих было мало, работать и развиваться могли лишь наиболее в художественном смысле живучие. В большинстве это были уже люди, более или менее крепко стоявшие на «художественных ногах». Несмотря на то, что общее число художников росло год от году, количество действительно стоящего пополнения с годами уменьшалось. В том и особенность безвоздушности, что зарождаться в ее среде чему-то новому затруднительно

По первому впечатлению кажется, что искусство тех лет обладало большой амплитудой и яркостью. Действительно разнобой в искусстве тех лет был отчаянный: кто во что горазд. Но крайне правый фланг был попросту малограмотный натурализм или в лучшем случае академизм, а предельные границы крайне левого были уже налицо. Так что направленческие бури были скорее всего бурями в стакане воды. И тот и другой фланг страдал и малой оригинальностью, и провинциализмом.

Крайне правые втискивали сегодняшнюю действительность в изжитые мертвые формы; новаторское левое искусство изображало столь же искусственную атмосферу, атмосферу вымышленную, следы которой авторы уловили в парижском искусстве, в немецком экспрессионизме и так далее. Словом, только не в том воздухе, в котором жили они сами в те годы. Для большей ясности повторюсь и скажу, что самое ценное, что

создано в искусстве за этот период, это работы абсолютно разобщенных одиночек, в основном сложившихся как художники, работавших елико возможно под прикрытием всяческих баррикад и протащивших свое искусство вопреки всему окружающему почти что контрабандой.

Мне хочется сказать и еще кое-что, хоть я и не исключаю, что мой отдаленный потомок не согласится со мной. Невозможно предугадать, как те или иные явления будут звучать в перспективе времени. Мне хочется сказать, что у этого времени в изоискусстве была некая доминанта, некая глубоко скрытая цель цель, конечно, неосознанная, и все художественные разночтения времени работали волей-неволей на эту цель. Цель эта - внутреннее, а как следствие и внешнее обезличивание искусства.

В молодости я был склонен думать, что это ингредиенты, работающие на обезличивание человека начиная с коллективного обучения, мимикрии, рабской подчиненности условностям, власть моды, всеобщность тех или иных чувств (напри мер страха) — все это исторически предопределено. Все это необходимо для создания некоего единообразия, необходимого, как плацдарм для нового возрождения человеческой индивидуальности. Я думал, что культура время от времени нуждается в такой нивелировке для того, чтобы подровнять ряды, подвести общий знаменатель и затем возрождаться заново. Так я думал еще в сороковые годы, а теперь я в этом совсем не уверен. Теперь мне кажется, что рационального смысла в этом нет никакого.

Между эпохой нэпа и целями и задачами искусства не только не было ничего общего, но эпоха эта была прямо враждебна этим целям и задачам. Даже в кошмарах военного коммунизма не было такого вопиющего противоречия между временем и искусством.

Искусство по самой сути своей аристократично (если не придавать, понятно, аристократизму социального смысла). Эпоха нэпа, двадцатые годы, была не только больная эпоха, но и самая плебейская из всех, что были на моей памяти, если опять-таки не придавать слову «плебейство» социального значения.

Материальная жизнь художников в те времена складывалась по-разному. Те, кто мог работать в театре, в книге, в журналах, те, кто мог делать плакаты, кто сумел пристроиться в какой-либо промышленности, — те беды не знали. Сводили концы с концами и те, кто уцепился за педагогику. Остальным было трудно. Продавать свои работы частному покупателю могли лишь те художники, чья подпись имела рыночную стоимость. Государственная власть, пытавшаяся хоть как-то материально поддержать изобразительное искусство, была крайне стеснена в

деньгах и все же стремилась приобрести для музеев все самое значительное, что тогда делалось в этой области. Особенно плохо было скульпторам: частному покупателю они были не нужны, промышленности тех лет и подавно. Эфемерные массовые госзаказы эпохи военного коммунизма ушли в область предания. Специальные помещения для работы, мастерские были у немногих скульпторов, большинство их вовсе не имело.

Сама скульптура в этот период, особенно в начале нэпа, воспринималась как анахронизм, как нечто совсем ни за чем не нужное. Если скульптура как вид искусства за этот период не уничтожилась совсем, то этим она обязана не только живучести и стойкости ее авторов, но и тем представителям власти, которые время от времени приходили ей на помощь.

У нас дома с деньгами почти во весь этот период было плохо. Папино жалованье соответствовало нашей квартплате. Питались же на случайный заработок от продажи скульптуры, на нерегулярный заработок, который давало мамино шитье, и на продажу имущества, оставшегося от старых времен. Всего этого, вместе взятого, понятно, было недостаточно. Стесненность в деньгах и недостача самого насущно необходимого ощущались на каждом шагу, но жить стремились так, чтобы не слишком замечать это.

Дома у нас все же чаще всего царило приподнятое, веселое настроение. По вечерам постоянно, как раньше, кто-нибудь приходил в гости, так что жизнь проходила как-то сносно. Этим мы обязаны, конечно, маме, ее непоколебимой оптимистической вере в жизнь.

Безденежье прямо сказывалось на работе отца невозможностью затрачивать достаточные средства на производство. Невозможностью нанять модель, затруднительностью работы из камня, которая, как ни вертись, требует хоть некоей, но все же затраты денег, и, наконец, полной невозможностью перевода своих вещей в бронзу. Но главное, пожалуй, было в том, что в погоне за каким-либо худосочным, грошовым заработком он принужден был браться за работы, лежащие вне его интересов и вне его возможностей. С работами этими он очень мучился. Помимо того что они отрывали его от настоящей работы, после них всегда оставался неизменно противный осадок. Неладно было и с искусствознанием: с его литературными занятиями в области теории и истории искусства. Он занялся ими для заработка, заработок они давали ерундовский. В свое время их как-то ценили, и надо сказать, что и на сей день они не утратили своей значимости. Но сам папа очень тяготился этим занятием, он не любил типа теоретизирующего

художника, считал, что искусствознание несовместимо с практической художественной деятельностью, что оно забивает голову и отнимает у настоящей работы что-то существенное. Позанимавшись несколько вечеров подряд этим делом, он терял рабочую форму и должен был делать перерывы в работе по скульптуре.

В этот период я был сначала мальчиком, потом юношей. Мои интересы не требовали никакой затраты средств, лишения, которые меня лично затрагивали, казались мне делом вполне естественным и привычным. Я ведь как-никак вырос в обстановке этих лишений. Я активно помогал маме в организаторской стороне жизни, бегал постоянно по ее поручениям, но это меня не затрудняло и не смущало. Мучило меня безденежье лишь за отца тем, что мешало ему работать, создавало бессмысленные и оскорбительные препятствия, мучило настолько, что чувствую это живо и по сей день.

Впоследствии, почти через двадцать лет, мне пришлось перенести столь же длительное, но куда более лютое безденежье. Причем безденежье безнадежно бесперспективное и ничем не скрашенное. По каким-то причинам, мне мало понятным, я сейчас вспоминаю его спокойнее. По-видимому, именно так часто бывает в жизни, ведь собственные трудности, пусть очень тяжелые, можно как-то заволакивать, рассеивать мелочными необходимостями будней. А беды и горе близких людей давят тебя, не давая покоя и роздыха. В связи с этим напрашивается и совсем другая мысль: ведь самое материально немыслимое для меня время было с конца сороковых годов до середины пятидесятых, время вообще это было страшное, и гнет его был ужасен, и все-таки воздух, тогда нас окружавший, был чем-то чище воздуха пресловутых двадцатых годов. В чем тут дело, почему это так? Неужели же все же дело в «искупительной массовой жертве»? Теперь все чаще думается, что в этом и дело. За что же искупление, неужели за глубокомысленное резонерство девятнадцатого столетия?

Безденежье было далеко не единственной тяготой, висевшей на нашей семье, нас тогда буквально обстреливаю со всех сторон. Мучила именно эта массированность обстрела и отсутствие защищенных мест. Непрерывный обстрел рождал чувство страха даже в людях, для подобного чувства мало приспособленных. Но тогда, в те годы, страх принимал формы вполне осязаемые, отчего субъективно он воспринимался скорее локально, и только в тридцатые годы страх, потеряв свою осязательность, загнездился буквально во всем.

Вот почему так трудно писать о двадцатых годах: ведь взятые

в отдельности, все это мелочи вполне осязаемые и будничные, в единстве же времени и места, навалившиеся скопом на человека, они уродовали его жизнь.

Таким образом, можно довольно точно сказать, что почти ни одно из обстоятельств, засорявших жизнь людей в двадцатые годы, само по себе не было определяющим для времени. Действительно могут они нарисовать жизнь того времени лишь совместно с другими и именно в том сочетании, в котором они наваливались на жизнь той или иной семьи. В дальнейшем, с середины тридцатых годов, уже четко наметился процесс стандартизации этих сочетаний, и количество полутонов, отличающих жизнь одной семьи от жизни другой, уменьшилось.

Тогда же, в двадцатые годы, только одно обстоятельство было всеобщим для интеллигенции. Я имею в виду коммунальность жилья и зависимость от домоуправлений и управдомов. Большинство людей, находившихся в поле моего зрения, жили в условиях коммунальных квартир, чаще всего своих же бывших дореволюционных и постепенно заселяемых чуждыми и даже враждебными контингентами. Законы, которые регламентировали изъятие у вас комнат и их заселение, были настолько резиновыми, что больше смахивали на беззаконие. К этому еще всегда примешивался так называемый классовый вопрос, то есть вопрос о прошлом: имущественном, общественном, сословном положении и даже о родственных связях тех, у кого что-то изымалось. Общение по жилищным вопросам с домоуправлением носило всегда характер судилища над недобитыми остатками прошлого. Как-то уж очень быстро большинство квартир не только в приарбатье, но почти во всей Москве превратилось в осиные гнезда, а жизнь в них стала кошмаром. Старые владельцы этих квартир, загнанные в одну, много две комнатенки, жили, стараясь не замечать ужаса этой жизни. Но между тем, чтобы стараться не замечать, и тем, чтобы действительно не замечать, разница очень существенная.

У большинства коммунальная квартира была фоном жизни. У одних этот фон был совсем нестерпим, у других терпимее.

Коммунальность жилья, если исключить доносы и их последствия, непосредственно не грозила жизни людей, она только лишала людей своего дома, своей собственной жизни или, в лучшем случае, ее неповторимой сокровенности. Берлога была пропитана чуждыми запахами и насквозь проглядывалась.

Интересно, что при встречах даже с друзьями этого круга о прелестях своего коммунального житья не распространялись. Конечно, тема эта противная, но было здесь и другое, гораздо более существенное, — это то, что русскому интеллигенту уж

очень неловко было не только говорить, но и думать о столь малой и непринципиальной категории. Нелепые и, в общем, смешные, они никак не могли до конца отказаться от светлых идей своего прошлого, даже в условиях тех лет все еще стремились становиться на цыпочки и смотреть на жизнь сквозь призму больших проблем. Понадобилось еще два десятилетия, чтобы те из них, кто выжил, хоть сколько-то разобрались в вопросах о масштабности категорий, — да и все ли они разобрались в этом?

Отсюда и в литературе коммунальная квартира фигурирует лишь в юмористическом плане, плане анекдота, что в корне искажает смысл этого явления.

Тема эта — в истинном смысле этого понятия — трагическая. Только трагедия эта нового, еще не созданного характера. Бытовой характер носит лишь ее поверхность, внешность, а смысл ее гораздо глубже. К истории она привязана лишь по конструкции, а суть ее вообще общечеловеческая.

Тема эта должна быть изображена максимально просто, даже малейший нажим ее ослабит, ее персонажи должны быть по-будничному обыденны, ситуации просты и естественны, а мотивы, которые движут там людьми, должны быть скрупулезно прослежены.

Тогда в этой теме соберется как в фокусе жизнь людей того времени, характер государственности страны, ее политика. Прочтя эту удивительную книгу, которая скорее всего никогда не будет написана, мы поняли бы не только скрытые пружины того времени, но и то, что процессы, происходившие в коммунальных квартирах, тождественны по своему смыслу многим процессам, которые происходят и еще долго будут происходить на нашей земле.

Я даже приблизительно не возьмусь рассказывать о коммунальности того времени, дело это мне не по плечу. Я расскажу лишь совсем схематично, как это явление затрагивало нашу семью.

По мнению многих наших знакомых, мы жили просто в роскошных квартирных условиях. Действительно, если говорить сравнительно с другими, то дело обстояло именно так.

Мы были, конечно, уплотнены посторонними людьми, но наши уплотнители очень скоро стали нашими ближайшими и нежнейшими друзьями. И так продолжалось до конца нашего совместного житья. Теперь все они уже умерли, и отсутствие кое-кого из них в моей жизни я воспринимаю как невосполнимую брешь. Только один человек, собственно, уже старая женщина, был человеком, враждебным нам, но присугствие других ее как-то

нейтрализовывало. Особа эта имела пристрастие к самой различной форме доносительства, но ее глупость и неполная психическая полноценность делали этот вид ее творчества малоэффективным. В непосредственно нашем распоряжении оставалось к тому времени три комнаты. Одна из них, довольно большая, была нашей бывшей столовой, там в закутке, отгороженном шкафами, помещался я. Далее шла небольшая комната — папин бывший кабинет, там теперь жила мама, а еще дальше — мастерская, огромная, шестидесятиметровая комната. Вот она-то и дразнила аппетиты тех, чьи аппетиты дразнить ни тогда и вообще никогда не нужно.

С начала революции и в первые годы нэпа в нашем домкоме заправляли делами несколько бывших крупных капиталистов-промышленников и два-три пришлых по ордеру уплотнителя. Бывшие капиталисты мигом вспомнили, что отцы их были неграмотными мужиками, а сами они учились на медные копейки и что, следовательно, они-то и есть этот самый народ-гегемон. Благодаря этой сугубо идейной подоснове они стали разрешать проблему уплотнения не за счет своих квартир, а за счет мансардного этажа, заселенного классово чуждыми элементами: моим отцом — бывшим помещиком, дворянином и скульптором, Марией Михайловной Страховской — дочерью умершего еще в том веке чиновника, бывшего одно время олонецким губернатором. Осуществить тогда свои замыслы им удалось лишь сравнительно незначительно, государственная власть пришла нам на помощь, в это время уже существовало ЦКУБУ.

Скоро количество пришлого элемента более чем в десять раз увеличило ассортимент основных жильцов нашего дома. Теперь бывшие капиталисты были оттеснены от руководства делами дома и сами попали в разряд классово чуждого элемента. С тех пор в домоуправлении заправляли люди, стоящие на самых разных ступенях советской иерархической лестницы, начиная от дворника и кончая судебным деятелем и даже красным профессором, но объединенные навыками уже установившейся демагогии и страстью отнимать, изымать, зажимать, выявлять, разоблачать и так далее.

Отцовская шестидесятиметровая мастерская стояла у них поперек глотки. Демагогия, которая в таких случаях пускалась в ход, была примитивнейшая, однако действовала безотказно: простые, действительно советские люди страдают от отсутствия жилья, а тут люди с социально подозрительным прошлым — и такое огромное помещение, в котором вдобавок делается нечто, никому ни за чем не нужное. «Так за что же боролись?»

Действительно, в те годы Москва скоро стала уже

переполнена сверх всякой меры и продолжала еще наполняться, открылся новый вид деятельности — «быть классово близким»; заниматься этим делом можно было, ни бельмеса ни в чем не понимая, дело же само по себе интересное — дави всех, кого можно, и больше ничего не требуется. Люди, желавшие заниматься подобным делом, могли тогда найти применение по всей Руси, но именно в Москве перед ними открывались широчайшие возможности и полрясающие перспективы. Понятно, что наболее энергичных потянуло сюда, и тучи воронья нахлынули на Москву. Наше домоуправление состояло по большей части из подобных элементов, отнятие у нас жилплощади и устройство быта себе подобных пришлых элементов волновало их очень мало. Дело было куда сложнее и тоньше. Если срывалось дело с очередным изъятием жилплощади, то они начинали стремиться объединить нашу квартиру с соседней и тем увеличить ее коммунальность, пытались заменить дружески к нам расположенных соседей пьяным дворником и кучей орущих ребятишек. Словом, они стремились как-то ужать нас, как-то изуродовать нашу жизнь. Это было почти единственное, что они могли и умели действительно делать, и делали это дело давления, душения, ущемления людей всегда и во всех условиях, прикрытые громкими лозунгами и красивыми фразами. То, что власть, правительство, законы как-то защищали нас, это только подливало масла в огонь. Словом, это была стихия слепая, угарная, не проснувшаяся, похожая на преступление, сделанное во сне. На противоборство этой стихии тратились огромные силы и надолго выбивали отца из работы. Так началась для нас эра судебных преследований и газетной травли.

В этих условиях были мы отнюдь не одиноки, квартирная травля довела профессора Н. до самоубийства. Это произвело впечатление на верхах, и оттуда прикрикнули, полегчало нам ненадолго. Скоро опять началось все заново. Никакое вмешательство прокурорского надзора не могло унять эту разбушевавшуюся стихию.

Существует мнение, что политика верховной власти в те годы была направлена на заселение коммунальных квартир антагонистическими элементами. Так это было или не так, мне неизвестно. Уверен же я лишь в том, что, как бы власть на этот вопрос ни смотрела, все бы вышло само собой и именно так, как оно получилось в действительности.

Возникает вопрос, кто же были, персонально, те люди, которые преследовали нас, но здесь я уже затрудняюсь, здесь начинается какая-то странность: дело в том, что они были

«никто». Эту фразу мне хочется произнести шепотом, потому что самое страшное в этом и заключалось, но именно это тогда было непонятно, понятным это стало только потом.

Рассказать о них невозможно именно потому, что они никто, некая аморфность. То, что один из них был дворник, другой портной, третий красный профессор, читавший лекции по такой философии, которая ни с какой философией ничего общего не имела, — все это ровным счетом о них не говорит. Ничего о них не скажут и их действия, ибо их действия есть лишь следствие функционального устройства этой амебы, а к личности ее не могут иметь никакого отношения по той простой причине, что личности у амебы нет и быть не может.

Непосредственным исполнителем этих изуверств был наш управдом — бледный холуй с лицом крысы, но и о нем я сказать ничего не могу. Он тоже был никто. Эти люди возникали как пузыри; вдруг в их руках оказалась возможность делать зло, в этом смысле они стали чем-то, и, как это ни странно, поэтому мы стали искать в них хоть что-то, присущее человеческой личности. Потом, с середины тридцатых годов, их коммунальная разновидность потеряла возможность делать зло, во всяком случае в пределах моей видимости, и тут очень скоро они превратились в выброшенных из жизни попрошаек, во что-то жалкое, пустое, умирающее, в желеобразную массу, которая когда-то была амебой. Словом, пузыри лопнули, и на их месте ничего не осталось, были они или не были — неясно. И все-таки они были, и были они нашими палачами. Не я награждаю их этим титулом, для амебы он слишком уж романтичен, им наградило их время и обстоятельства. Деятельность палача был высший взлет их судьбы, вершина доступного им вдохновения, а дальше они превратились в ничто. Все виды палачей дальнейшего времени той же конструкции, и чем дальше будет идти время, тем более туманными будут казаться и они сами и их происхождение.

Глава II

В начале двадцатых годов я постепенно совсем перестал посещать школу, и это нудное и столь неприятное заведение начало даже забываться. Однако такая жизнь не могла долго продолжаться, и я после двухлетнего перерыва поступил снова, но уже в другую школу. Не постигаю, как я выдержал приемные испытания.

Школа, в которой я до тех пор учился, по составу учеников была интеллигентская, но мои слишком эпизодические появления на уроках сделали то, что я почти ни с кем не успел там

подружиться. Круг моих детских товарищей не был тогда связан со школой.

Теперь, после двухлетнего перерыва, я поступил в бывшую гимназию Ломоносовой. Она помещалась на Сивцевом Вражке в особняке, когда-то принадлежавшем отцу Герцена и описанном в «Былом и думах». При этой усадьбе был очень хороший липовый сад, большой и тенистый.

Эта школа была совсем другого типа, и поступил я туда, по-видимому, по недоразумению, в коем повинен был кто-то в отделе народного образования. Школа эта обслуживала в основном детей типографских рабочих и служащих пожарного депо, другие слои общества были здесь случайным вкраплением. Новый состав товарищей очень меня заинтересовал. Все они, начиная с нас четырнадцатилетних, и кончая старшеклассниками, твердо знали, что они и есть победивший класс класс-гегемон, и что в самое ближайшее время они победят весь мир. К боям, в результате которых должна обязательно прийти эта победа, они готовились: почти что серьезно стремясь привести себя в боевую готовность, занимались вопросами приведения тылов в состояние революционного порядка.

Ученики старших классов, а за ними и мои однолетки шумели на общих собраниях, в учкоме, на классных собраниях, в кружках — словом, всюду, где было возможно. Они митинговали, решали постановляли, требовали, выкрикивали лозунги, с чем-то и за что-то боролись и твердо, непоколебимо были уверены, что всем этим они делают великое дело.

Мне стоит сейчас зажмурить глаза, как передо мной встает фигура оратора, собственно, еще мальчика, но тогда казавшегося мне взрослым. Тип мастерового еще прошлых времен, но в отличие от тех одетого в военную поношенную гимнастерку или в изъеденную до белых проплешин распахнутую кожанку. И я почти что вижу решительные черты его упрямо сосредоточенного лица, вижу, как он взмахом руки откидывает назад светлые пряди своих красиво вьющихся волос, а ладонью другой руки рассекает в процессе говорения воздух.

Просто непостижимо было, как они не захлебывались своими словами, где набирали бензин для своего говорильного темперамента. Тем более что конкретный повод для всей этой болтовни был весьма от них отдаленным: вроде выборов в английский парламент или предательской политики желтого Интернационала.

Вся эта публика абсолютно верила своему, как она считала, правительству, благоговела перед мудростью его постановлений и почти молитвенно пела революционные песни. В чистых

заливистых звуках ребяческих голосов, наполнявших воздух больших, когда-то барских комнат, чудилась даль и ширь, и свет, и просторы, и моментами казалось что за этим и впрямь что-то есть

Все это было очень далеко от меня, они, мои сотоварищи, на словах создавали новый мир, но даже в туманных проектах этот мир казался мне голым и скучным, обо всем этом я, понятно, молчал гробом. В то же время я немного знал мир, который они или их родители разрушили на деле и продолжали ломать то, что еще остаюсь, и как раз этот мир был мне близок, но об этом я молчал еще плотнее

Тем не менее мои новые сотоварищи и их шумная деятельность казались мне весьма интересными и благодаря своей полной для меня биологической непонятности вызывали нечто вроде уважения. Однако мне очень быстро стало ясно, что уважение и интерес возможны лишь при соблюдении известного расстояния, что при приближении и они сами и их деятельность проигрывают, теряют для меня свою прелесть.

Впрочем, справедливости ради надо добавить, что они и не стремились приблизить меня к святая святых своего муравейника, скорее всего им было приятно видеть во мне «недостойного».

Я поступил в эту школу весной, а в следующем учебном году умер Ленин. После того как событие это с трагически-траурным видом было сообщено нам, нас распустили на неопределенное время обязав, впрочем, ежедневно являться в школу. После этого сообщения разошлись далеко не все — так бывает в семьях, где умер кто-то. Около тела покойного остаются самые близкие, или те, кто считает себя близким, или наконец, те, кто хочет, чтобы его считали за такового.

В больших высоких комнатах и коридорах школьного дома стало траурно, панихидно, настороженно и неприютно. Все это напоминало казарму накануне больших событий, где лишь дежурные и начальники сидят кое-где в отдаленных помещениях, ожидая боевой тревоги. В комнатах учкома и бюро комсомола бессменно находились на страже наши вожаки. Там кто-то плакал, отвернувшись к стене кто-то просто, скрестив на груди руки, строго смотрел в пространство, кто-то с озабоченным видом водил карандашом по бумаге.

Я выскочил оттуда с тем же чувством, с каким бегут от сраженных потерей близких родных покойника, испытывая неловкость, что не только их переживаний, но даже их траура ты разделить не в состоянии.

Даже в нашем опустевшем классе на предпоследней парте кто-то сидел, этот кто-то был самый популярный человек в школе

— председатель учкома Морик Лагун. Старшеклассник с хрящеватым лошадиным лицом, он сидел, закрыв лицо руками, его сотрясали рыдания, из глотки его выскакивали хриплые, отчетливо теноральные звуки. Мой приятель Володя К., сын типографской уборщицы, мальчик сердобольный и сентиментальный, сам со слезами на глазах пытался его утешить, говоря: «Морик, не плачь, Морик, не надо», но смущавшие меня рыдания не прекращались.

По какому-то отсчету в силе звука, по какой-то уж слишком теноральной ноте, по какой-то лишней спазме я заподозрил, что здесь что-то не вполне так. По сей день не понимаю, что означала вся эта петрушка, скорее всего здесь было то, что бывает во время игры. Заигравшись, может наступить мгновение, когда игра станет почти правдой. Так что едва ли это от начала и до конца был чистый спектакль.

Любезнейший Морик, маленький вождь эпохи моего отрочества! Где вы теперь? Может быть, вы погибли вместе с волной троцкистов, может быть, вас убрали в тридцать пятом, может быть, вам посчастливилось кричать ура великому Сталину и умереть, защищая его державу, а может быть, вы здравствуете и по сей день, но теперь денно и нощно мечтаете о том, чтобы вам и вашим детям удалось поскорее унести ноги отсюда и «воссоединиться со своей исторической родиной»?

На другой же день начались непрерывные собрания. Мы с утра и до вечера митинговали. Единственное разнообразие заключалось в том, что меня время от времени вызывали что-либо рисовать, но все, что я делал, явно не соответствовало трагизму темы. В основном же приходилось сидеть в зале, где все время кто-нибудь поднимался на эстраду и говорил, говорил, говорил. То это был директор школы, то ученики старших классов — комсомольские вожди, являвшиеся его воспитанниками, его соратниками, его гордостью и его боевым отрядом. Все они что-то проклинали, чему-то клялись, чему-то свирепо угрожали и при этом непрерывно резали ладонями воздух. Потом в паузах все стоя пели «Вы жертвою пали» или нечто подобное, потом снова кто-то резал воздух ладонями и сотрясал его выкриками.

От всего этого рябило в глазах и звенело в ушах, а в голове делалась полная неразбериха, и казалось, что и сам ты вот-вот забьешься в таком же ораторском припадке.

Наконец в один страшно морозный день, настолько морозный, что я понял, что такое «красный мороз», нас повели по Москве с траурными знаменами и лозунгами, и там где-то в Охотном ряду мы попали в затор. Несметные толпы людей змеевидно вились вокруг Дома союзов, местами горели костры. Вечерело, мороз усиливался. Кто-то, увидев наши замерзшие рожи, сжалился над нами, и нас отпустили по домам.

Возможно, что при моей органической неспособности к мимикрии мне давно следоваю уйти из этой школы, но мне здесь было хоть худо и чуждо, но интересно. К тому же в четырнадцать лет я не очень умел взвешивать практические перспективы своего будущего. Тем не менее многое здесь меня прямо ставило в тупик. Один пустяковый разговор заставил меня не на шутку призадуматься.

Бывшая заведующая нашей школой Ломоносова, отстраненная от должности, продолжала проживать на территории школы. Заведующим стал молодой провинциальный педагог (кажется, из поповичей), некто Резчик. Этот очень энергичный партиец, заряженный выше ушей самыми крайними идеями, быстро и блестяще повел школу в духе создания атмосферы непрерывной революции. Ломоносовой же, в уважение к научным заслугам и крестьянскому происхождению ее великого предка, разрешили временно проживать в комнате при школе. Этой очень приятной, уже старой женщине, теперь отстраненной от ее детища, приходилось постоянно для сообщения с внешним миром проходить через наш рекреационный зал. Я был немного знаком с ней и поэтому при встречах, естественно, здоровался. Увидевший это все тот же Володя К. с удивлением спросил меня: «Разве ты не знаешь, что она уже не директор, зачем же ты перед ней унижаешься?» Я обалдел от такой постановки вопроса, начал было ему объяснять и вдруг спохватился, догадавшись, что если он, на несчастье, поймет мои объяснения, то будет смертельно обижен, и я замолчал. А ведь он искренне, от души предупреждал меня, чтобы я зря не тратил пороха. Я понял тогда, что где-то между нами есть стенка и пытаться переступить через нее бессмысленно, но мне казалось, что жить и общаться с ними в человеческом плане все же возможно.

В действительности жить с ними мне было трудно и становилось все трудней. В любом разговоре, естественно, можно задеть случайно неизвестные собеседнику темы, это бывает буквально со всеми, и нормальные люди едва ли обращают на это

внимание. Случалось и мне в разговорах со сверстниками задевать нечаянно подобные темы, но мои пролетарские сотоварищи воспринимали мои слова в подобных случаях как мое желание похвастать своими познаниями. Сначала я ничего не понимал, такая подоночность была мне непостижима, когда же я стал понимать, получилось еще хуже, так как в разговорах я стал осторожничать и вообще изворачиваться, а это не могло не влиять на искренность отношений.

Я был мальчиком из культурной среды, и потому те или иные интересы у меня смогли проявиться и легче и раньше, а те или иные сведения доходили до меня не только из книг, но и понаслышке от окружавших меня людей. Во всем этом моей заслуги почти не было, исключая, может быть, присущее мне любопытство, хорошую память и мою впечатлительность. Я очень хорошо понимаю, что сведения, которыми я обладал, совсем чепуховые, что в действительности я малообразован, — так понимал это все я, так или еще суровее оценивали это мои родители и так оно и было в действительности. Но мои пролетарские сотоварищи относились к этому иначе. В этих слоях в те годы было даже преувеличенное почтение к культуре при полном непонимании, что это за зверь и как с ним обращаться.

Мою же культурность, мои познания и даже мои способности они до смешного преувеличивали, создавая образ, мало похожий на действительный. Созданный ими образ, по-видимому, был весьма малосимпатичен, обладал, надо думать, разными сомнительными качествами, но главное было в том, что я в их представлении был неким почти патологическим существом, обладающим исключительными возможностями в таинственном царстве культуры.

Разобрался я в этой бредовой нелепости с большим трудом и, понятно, не сразу. Возможно, что по дороге, не понимая, сделал даже какие-то ляпсусы, но корень зла был отнюдь не во мне, а в них; молчал я или говорил, они все равно любое мое проявление воспринимали по-своему.

Я не думаю, что все они относились ко мне плохо, едва ли это было так, просто я их чем-то смущал, а некоторым из них, может быть, было трудно примириться с таким положением вещей.

Вероятно, со временем все это как-то сгладилось бы, утряслось, тем более что благодаря своей общительности я даже подружился с некоторыми из них, но, к сожалению, педагоги сильно испортили и усложнили мое положение.

Педагогический состав в этой школе по гуманитарным дисциплинам был новый, только что испеченный, весьма элементарный, а по настроениям своим глубоко советский,

благодаря чему публика эта не понимала, что происходит в реальной действительности того времени. Эти полуобразованные, наивные до глупости, идеально умонастроенные люди умилялись на мою культурность, на мои познания, то и другое приписывали моим способностям и излишне болтали на эту тему.

В результате надо мной разразилась совсем неожиданная катастрофа.

Аттестацию успехов за предпоследнюю четверть Резчик провел способом, необычным даже для тех времен: вынес этот вопрос на всешкольный референдум. Называлась фамилия очередного ученика, затем педагоги давали оценку его познаний и способностей. Далее старосты классов, члены учкома и, если это оказывалось нужным, члены бюро комсомола давали характеристику политической и гражданской сознательности подсудимого. Далее начинались прения, и любой из присутствующих в зале имел право высказать свою точку зрения или добавить известные ему подробности из частной или школьной жизни разбираемого персонажа. К чести этой публики следует сказать, что добровольцев из зала находилось не так уж много. Однако мы кое-что все-таки узнали. Например, что одна девочка написала свое сочинение не самостоятельно, а в ходе прений мы обогатились сведениями, что списывание есть часть того наследия, которое нам досталось от прошлого и которое будет в дальнейшем искоренено.

Далее директор резюмировал все, что было сказано, и предлагал резолюцию, которая и ставилась на голосование всего зала. Словом, все преимущества демократии при гегемонии рабочего класса здесь были налицо.

Зал был набит до отказа. Там были ученики всех классов, начиная от нашего шестого и до выпускного. Все сидели на длинных скамьях, поставленных, как в любительском театре. На эстраде за длинным столом сидели активисты, учкомовцы и директор. Там же находились и учителя. Весь этот римский цирк начался с утра и затянулся до позднего вечера.

Опять с этой эстрады пытались любой вопрос поднять до должной политической высоты, заострить и профильтровать в свете мировой революции. Опять ораторы вскакивали, кричали, возмущались, угрожали и резали, как положено, ладонями воздух.

Чувствовалось, что будничная обыденность разбираемых прегрешений и подвигов, а главное, однообразие характеров подсудимых было совсем никудышным сырьем. Все это связывало ораторов, не давало проявить себя в полном блеске. Но здесь приходил на помощь более опытный Резчик. Ожидавшие очереди

предстать пред всенародным разбирательством, естественно, волновались, волнение передавалось от человека к человеку. Выкрики ораторов наполняли зал, воздух ощутимо густел, и туг очередь дошла до моей персоны. Я оказался не только подходящей для них пищей, но и лакомым блюдом.

Преподаватели сносно оценили мои успехи, а учительница по литературе, похвалив мою учебу, не придумала ничего лучшего как сказать, что по развитию я на голову возвышаюсь над классом.

Это было как раз то, что нужно, то, чего как раз не хватало, это был уже настоящий товар, и на него набросились.

Последней была опрошена преподавательница обществоведения, дисциплины, которая тогда представляла из себя изуродованную историю. Это была рыхлая немолодая особа с низким голосом, с ухватками нигилистки, почти непрерывно курившая. Она в общих чертах, но более сдержанно подтвердила оценку литераторши. С ней как с партийной, как со своим братом церемониться уже не стали, на нее прямо набросились.

Что именно говорилось на эстраде, за общим шумом разобрать было невозможно. Я видел, что ее обступили, что все говорят одновременно, что в воздухе мелькают руки и что она сама кричит истошным голосом и тычет в физиономии оппонентов горящей цигаркой. Потом в наступившей паузе я увидел, что она окончательно струсила и уже только оправдывается и ссылается на меня же, говоря, что не раз-де указывала мне, что я «недооцениваю роль классовой борьбы в истории крестовых походов». Потом взял слово один из вождей — высокий юноша с открытым лбом и светлыми волосами. Одернув гимнастерку и кашлянув, он сказал, что комсомол и общественность считают, что я стремлюсь занять некое внеклассовое положение, что это есть буржуазный анархизм, что я самый настоящий представитель буржуазии, разбитой, но не добитой, что я и есть тот самый внутренний классовый враг, с которым надо не только бороться, но которого надо уничтожать.

Потом возник другой оратор, чернявый, плотный и темпераментный, он оказался ко мне еще более строгим, но не соглашался с предыдущим по вопросу буржуазного анархизма, и все опять пришли в такой азарт, что руки с растопыренными пальцами лезли им прямо в морды. Между прочим, этот оратор клятвенно заверил собрание, что рабочий класс не потерпит, чтобы кто-то вообще выделялся.

И пошло, и пошло. Ораторы-старшеклассники сменяли друг друга, и ни один из них не сказал обо мне ни единого доброго слова. Потом вдруг все неожиданно оборвалось, выдохлось, и в

наступившей паузе мне предложили что-либо сказать.

Положение было трудное, в накаленной атмосфере этого собрания говорить по существу было бессмысленно, да и что я мог сказать этой публике, но молчать тоже было нельзя, и я решил парировать самое мне противное и сказал: «В определении моей классовой принадлежности допущена ошибка, к буржуазии я не принадлежу и не принадлежал, отец мой всю жизнь работал, по профессии он художник-скульптор».

Боже, какой свист, хохот и улюлюканье покрыли мои слова. До сих пор Резчик только дирижировал этим побоищем, но тут уже вышел на авансцену и, запустив пятерню в копну своих черных волос, поправил прическу, расставил широко ноги и, глядя сосредоточенно в пол, обдуманно и веско резюмировал: «Все ясно, товарищи, чья голова выше, ту мы и будем сечь» — и так свистнул ладонью по воздуху, что я ощутил, как моя голова оказалась «в ящике, скользком на самом дне».

Он сказал, что, учитывая мою неподходящую идеологию, ставит на голосование предложение о моем исключении из школы без права поступления куда бы то ни было в дальнейшем. «Мы не хотим, чтобы такие учились в наших школах, мы не можем себе позволить роскошь оснащать познаниями чуждую нам, враждебную буржуазную идеологию, с которой нам предстоит в недалеком будущем последняя и решительная схватка».

За это предложение поднялось море рук, их и считать-то было бессмысленно. Мне было очень неловко, я старался не смотреть по сторонам, боясь встретиться взглядом с кем-либо из знакомых, но это была совсем излишняя щепетильность. Сидевший со мной рядом сердобольный Володя К. не только изо всех сил тянул вверх свою ручонку, но еще и опирался на мое плечо. Он хотел, чтобы все видели, что он со всеми, что вопросы дружбы ничто по сравнению с интересами класса.

Даже сидящая на эстраде учительница литературы, заварившая отчасти эту кашу, теперь покрасневшая пятнами, затюканная и перепуганная, вытирая платочком слезы, отвернувшись, подняла руку за мое уничтожение.

На улице лежал мартовский снег, мои шаги оставляли черные следы на тротуаре Калошина переулка. Я знал, что дома отнесутся ко мне с большим сочувствием, что все случившееся как-то уладится, но все-таки на душе у меня было неважно.

Весь путь по Калошину, а затем по Арбату мимо лавок и магазинов, людей и трамваев был мне тяжел, давило воспоминание об этом зале. Его густой воздух соткался из чего-то поначалу вполне пустякового, вроде игры, и лишь потом перерос

в накаленную одержимость. В нем кишели бациллы возведенной на трон злобы, в нем было какое-то исступленное умопомешательство, бездомное, серое, липкое, душащее. Воздух этот, густея, превратился в тело огромной амебы. Ее слизь заполнила все пространство, она уперлась в наши глаза, залезла в ноздри, в уши, облепила все наше тело, мы задыхались в ее испарениях. Амеба эта была невидимым, но реальным чудовищем, пожалуй, в смысле реальности с ней ничто не могло конкурировать, в жизни она ощущалась постоянно где-то здесь, рядом с тобой, но именно тогда, на этом собрании, в этом зале, я впервые был так весь целиком в ее власти, и это было страшно.

Сам же казус с моим исключением ликвидировался довольно легко — папа, сообразив всю эту историю, переждал день и пошел объясниться. Для этого он оделся демонстративно по-старорежимному. Надел крахмальный стоячий воротничок, не забыл и изумруда на пальце.

За день обстоятельства сильно изменились, случилось что-то, что испугало Резчика. Он, видимо, понял, что несколько поспешил, что общество еще не вполне созрело для римского цирка, в особенности если в роли жертвы фигурирует четырнадцатилетний мальчик.

Разговор был совсем коротким. Резчик просил папу не настаивать, чтобы я продолжал обучаться в этой школе, откровенно сознавшись, что это «поставит его в неудобное положение». Постановление же общего собрания как мираж растворилось в пространстве, и я формально по собственному желанию ушел из этой школы и перешел после каникул в другую.

Через день или два после этого собрания я встретил на улице священника, которого помнил столь же давно, как себя самого. Если я чего-то не путаю, именно он и крестил меня. При встречах со мной он всегда задавал мне несколько стереотипных вопросов, а выслушав равнодушно мои ответы, сурово от меня отворачивался.

На улице он казался чем-то совсем независимым и ни с чем окружающим не связанным, он казался таким абсолютно одиноким, словно был единственным гражданином неведомого гражданства. Был он высок ростом, болезненно худ, стар, сед и сердито, неприязненно мрачен. Морщины на лице у него были глубокие, резкие, нос клювом и маленькие колючие глаза.

Столь же равнодушно встретились мы и на этот раз на углу Трубниковского, батюшка, как всегда, спросил:

«Ну, как живешь?»

И я сам не знаю, что на меня нашло, хорошо понимая, что случившееся со мной никак рекламировать не следует, вдруг

бухнул этому столь мало располагавшему к себе человеку:

«Из школы меня исключили».

Батюшкины брови нахмурились.

«За какие же это художества, позвольте узнать?»

Я, поперхнувшись, ответил:

«За неподходящую идеологию».

Батюшка еще помрачнел.

«Это как же понимать, ляпнул что-нибудь лишнее?»

«Да нет, я молчал».

Наступила пауза, и батюшка, смотря на меня сверху вниз, сверля колючими глазами, сказал:

«Что же, так и сказали, что идеология не такая, как нужно по ихним правилам?»

«Да, так и сказали».

«По-русски они говорить не умеют. Обрадовались непонятному слову и суют его куда ни попадя». А после паузы, вздохнув, добавил: «Что же выходит: молчишь — худо, говоришь — и того хуже. Что же такое у нас с тобой получается? Видимо, брат, как на нас ни смотри, не подходим мы к ним, и баста».

Я взглянул на него и увидел, что никакой неприязненности в нем нет, был он сурово, мужественно прост, и мрачность его обычную сейчас как бы рассек, как бы свел на нет острый, сверкающий и просветленный взгляд.

«Только ты вот что — не унывай, не расстраивайся. Это им надо расстраиваться, что звероподобие свое идеологией называют. Да и у зверей, пожалуй, не так подло, как у них, получается. Мне уже это все ни к чему. Я, видишь ли, совсем умирать собрался, а тебе жить и жить еще, и унывать не нужно. Радоваться нужно, что на них не похож. Плюнь, брат, проживешь и без них». И, приподняв за подбородок мою голову ледяными тонкими пальцами, батюшка перекрестил меня и добавил: «Не вечно же муть эта будет. Доживешь еще до других времен, тогда и меня вспомнишь. Ну, Христос с тобой».

Глава III

Жизнью в подлинном смысле для моего отца была лишь его жизнь в мастерской, все остальное было подспорьем, аккомпанементом. Он говорил:

«Надо, чтобы в мастерской было все в порядке, остальное рано или поздно приложится».

Порядком в мастерской для него была удачно двигающаяся работа.

Мастерская была не только помещением для работы, но и

соучастницей в ней. Соучастие принимал тот особый и неповторимый творческий воздух, та рабочая красота, которая делает мастерские некоторых художников столь незабываемо прекрасными.

В подлинном творчестве всегда есть элемент чуда, и потому места, где столь определенно свершается чудотворство, есть всегда места особые, места заповедные.

Папина мастерская была для всех нас центром нашей жизни.

Для мамы так было потому, что она любила отца и, несмотря на ее нескрываемое безразличие к изобразительному искусству, понимала, какое значение искусство, а следовательно, и мастерская имели для него. Она с большим вниманием и любовью относилась к жизни мастерской, была в курсе всего, что там происходило, всегда готова была в чем могла оказать посильную помощь, но «творчество и чудотворство» затрагивали ее не непосредственно, а лишь в той форме, в какой это отражалось на состоянии папы.

Для меня мастерская была центром потому, что то, что там происходило, было мне важнее всего в жизни. При папиной жизни я бывал в мастерской лишь в качестве гостя, и, несмотря на это, она была для меня тем родным домом, о котором говорилось ранее. Ее воздух, ее запахи были атмосферой моего детства, моей юности, моей молодости. Любая другая атмосфера казалась мне менее благоприятствующей.

Мастерская была хороша всегда, в разные времена года и в разные часы дня и ночи, и всегда она была хороша по-разному.

Зимой в теплом, нагретом калориферами воздухе сильней ощущались ее запахи, такие умиротворяющие, такие родные, так сросшиеся с представлением о жизни и счастии. Собственно, это была мудренейшая смесь запахов скипидарных лаков, мокрой глины, масляных красок, разогретого воска, мастики и парафина. Запахи эти наполняли мирную рабочую тишину мастерской. За восьмиметровыми по длине окнами лежали навалы снега, а за ними — серо-лиловые облака с затерявшимся в них багровым угольком заходящего солнца.

Летом закатное солнце полыхало по огромной этой комнате тлеющими квадратными лоскутами. Квадраты вытягивались, становились ромбами, ромбы превращались в ни на что не похожие пятна, они заляпывали подставки, скульптуру, переползали по полкам и стенам, забирались на потолок. В этот час хорошо было, забравшись на высокое окно, выйти за его растворенную воротину на метровый по ширине карниз и сидеть там на опрокинутом ящике вместе с папой, глядя на замирающий над приарбатьем день. День, в котором было много хорошего и

плохого, день, который, как всякий день в жизни человека, должен быть благословенным. Из этого дня, как бы там ни было, но уже прожитого, уходило солнце, и взамен ему земля начинала нас завораживать темнеющей зеленью своих садов, прохладой и их долетающим до нас ароматом. Глядя на дали приарбатских крыш, мечталось о дальних дорогах, о путешествиях, о свободе.

Солнечный диск, отказываясь от своего благожелательного расточительства, без особого сожаления отступал от мира, и к его прощальному жесту примешивалась уже нотка безразличия. Диск этот спускался за сине-зеленую дымку Дорогомилова, и наступали те кратчайшие мгновения, когда город светлел, выцветал, терял контрасты.

Между тем вечерело, свежело, откосы домов слегка лиловели, и то тут, то там над зеленью садов зажигались в окнах огни, прозрачные, слабые, нематериальные. Кто расскажет о них и как о них рассказать?

На нереальных, дымчатых, растворяющихся стенах появляются, возникают по чьей-то воле и словно повисают над миром эти еще более нереальные удивительные светлячки. Свет этих окон неопределим и неуподобляем, он слишком прозрачен, в нем подозрительно много счастья, он почти не запоминаем и совсем не живуч. С ходом вечера от мгновения к мгновению он материализуется, золотеет, густеет, и чем темнее и неопределеннее становится мир, тем ярче над ним, тем сильнее сверкают торжествующие теперь веселые, победоносные окна. Но это уже не те удивительные нежнейшие светлячки. Теперь из погустевшего золотого света до меня начинает доходить свет чужих жизней.

Только теперь я начинаю понимать, что в окружавших меня каменных и деревянных разновеликих кубах под сложными конфигурациями железных крыш, за каждой еще недавно темной дырой окна была недоступная для меня жизнь. О, как тянуло меня к этим жизням, как верил я в их неисчерпаемую глубину, как стремился всмотреться в них. Но что там можно было увидеть, лишь движения, лишенные фабульной осмысленности, кадрированные рамой окна. Силуэты людей, беспощадно обкромсанные этой кадрировкой. Индивидуальное угадывалось там только через специфические ритмы движения людей, но с меня хватало и этого, толчок для фантазии был дан, и обрывок реальности, одухотворенный почти наобум, ничего не теряя, погружался в неизвестность — в тайну.

В этих окнах мужчины все что-то куда-то складывали, а женщины все что-то перетряхивали и что-то перестилали. Их движения казались бормотанием в бреду, а осмысленность была

подобна толчению воды в ступе.

Если бы у меня была возможность достаточно ясно разглядеть содержимое хоть одного окна, все получилось бы иначе, но я видел тысячи освещенных окон, обрывки движений, дышал прелестью этих жизней так же, как дышал прохладой этого вечера.

Когда мы спускались из своего заоконья в четко ограниченное обжитое пространство мастерской, оно оказывалось не таким уж четким, его границы скорее угадывались, оно было затянуто сумраком, в котором чернели провалы.

Через раскрытые двери маминой спальни из столовой лился яркий электрический свет. Мама устраивала чай, и оттуда слышалось веселое позванивание чайной посуды.

После путешествия над городом, над его крышами, над жизнями, под ними заключенными, процесс чаепития как бы продолжал путешествие, подобно тому как чаепитие в кают-компании океанского корабля продолжает твое продвижение по водам.

Звонок случайно забредшего гостя мог быть тоже продолжением путешествия при условии, что этот гость обладал особым миром и умел приносить его с собой.

Любил я мастерскую и в поздние вечерние часы, точнее говоря, в ночные, когда замолкали коммунальные звуки, когда весь дом уже спал. Папа, кутаясь в рваное домотканое, еще адампольское, пальто, сидит в кресле за письменным столом, я — у торца стола, на стуле для посетителей. Мастерская погружена во мрак, только свет из-под зеленого абажура настольной лампы освещает идеальный порядок этого стола. Тянется долгий, нудный, собственно, неизвестно когда начатый разговор; ныне эти разговоры от меня неотделимы, где они кончаются, где начинаюсь я — мне неизвестно. Тогда же это было иначе, тогда эти разговоры были неотделимы от светового круга из-под зеленого абажура, от слабо и мягко освещенной фигуры, кутающейся в рваное пальто, от тонущих во мраке скульптур. Точнее говоря, тогда эти разговоры были лишь частью атмосферы этой мастерской, даром немыслимой ее щедрости, жили в волшебном свете из-под зеленого абажура, в мерцающих полутенях и в черных провалах ее отдаленных углов.

Кроме огромного количества скульптур, заполнявших собой мастерскую и в подавляющем большинстве запрятанных или прикрытых, мастерская хранила свидетельства разнообразных папиных пристрастий.

Подставки и вообще все оборудование было там самого разного происхождения. Многое служило раньше другим

скульпторам и даже скульпторам совсем другого поколения. Многое было привезено из Парижа и приобретено там на распродаже чьих-то мастерских.

К некоторым инструментам и даже к подставкам у папы было особое отношение. Для него они были как-то одушевлены и имели вполне индивидуальный характер. Подобное отношение к инструменту бывает у очень хороших мастеров-ремесленников, действительно любящих свое дело. Совершенно особое отношение у папы было к двум любимым пальмовым стекам, которыми он пользовался. Я думаю, что он ценил их не только за их мудрую красоту и пластичность, но и за то, что они как соратники прошли с ним вместе его рабочую жизнь. Он почти ритуально, с любовью тщательно мыл и протирал их после работы и ставил в майоликовую вазу над своим столом. Этим жестом заканчивался его рабочий день. Ему была неприятна мысль, что после его смерти может так случиться, что стеки эти попадут в руки человека, который будет с ними обращаться «по-свински», и они «запаршивеют» от налипшей на них глины. Но его любимый молоток и эти стеки от подобного гарантированы, они похоронены вместе с ним.

Ранее я писал, что мастерская отца и «сень тригорских лип», иными словами, адампольских, являются частями того целого, которое следует именовать моим родным домом. Так было и есть, но по поводу мастерской я должен оговориться. Речь идет лишь о мастерской того времени, когда там жил и работал папа. После его смерти в результате различных жилищных ужатий в эту мастерскую въехал я.

Если подходить чисто внешне, то от этого в мастерской мало что изменилось, я просто втиснулся туда; при большой величине этой комнаты мое присутствие и мои рабочие приспособления не могли повлиять на просторность мастерской. Ее простор каким был, таким и остался, а вот что-то другое ее изменило. Подходя опять-таки чисто внешне, можно говорить о том, что если живописная мастерская плохо сживается со скульптурой, то графическая и тем более. В занятии графикой есть некая мельтешня, для этого дела и куска стола достаточно, и в то же время захламить ею можно целую комнату.

Но такой внешний подход — это отговорка, никак не раскрывающая смысла явления, понимал я это и тогда, понимаю еще четче теперь.

Дело было в том, что мастерская была создана моим отцом и была выражением характера его дарования, его вкусов, привычек, образа жизни, его рабочего ритма. Именно в этом и заключалась ее особая прелесть, делавшая ее самое почти что художественным

произведением.

Теперь обстоятельства сложились так, что туда въехал сын, сын, внешне очень похожий на отца, да во многом, пожалуй, и внутренне, к тому же этот сын ничего в этой мастерской радикально менять и не собирался, казалось бы, что для мастерской вариант получился наиболее удачный. Однако очень скоро этот сын, то есть я, стал ощущать, что своим присутствием он чем-то непоправимо испортил эту мастерскую. Ни я, ни моя работа не вписывались туда, мы находились в противоречии со всем, что было в этой мастерской, а она в свою очередь как бы хотела все время выплюнуть меня вместе с моим барахлом. Я сознавал, что правота лежит на ее стороне, но в то же время выплюнуться мне было некуда. Отсюда мое пассивное упорство и постоянное чувство своей виновности. Примирилась она со мной ненадолго во время войны, на короткий период воздушных бомбежек.

Ничто внешнее не заставляло меня высиживать эти ночи там, на последнем этаже одного из самых высоких домов приарбатья. Слушать, а иногда и видеть, как то там, то сям совсем недалеко рвутся фугасные снаряды, как тарахтят пулеметные очереди по железной крыше над моей головой, любоваться фейерверком трассирующих пуль, огнем пожаров и при всем том чувствовать себя если и не вполне спокойно, то, во всяком случае, очень и очень неплохо.

Я воспользовался возможностью хоть как-то сквитать наши счеты, и с души у меня словно камень упал. Мои тогдашние чувства, если бы их выразить словами, были бы примерно такими:

«Видишь, я не просто в тебе поселился, воспользовавшись случайностью права, наша связь старинная, исконная, естественная. Пришло страшное время, тебе угрожает опасность, и я тут, с тобой, если будет возможность помочь — помогу, а если тебе суждено погибнуть, то погибнем мы вместе».

И я сидел в глубине мастерской, привалившись к спинке дивана, покуривал, смотрел и слушал, как небо за огромным окном рычало, грохотало и вспыхивало, а временами и сотрясало дом. Понятно, что вышеприведенного дурацкого монолога я не произносил даже про себя, но чувствовал я примерно так.

Мастерская тоже молчала, к ожидавшей ее судьбе относилась с мудрейшим спокойствием. За ее молчанием можно было прочесть примерно такое: «Все правильно, иначе и быть не могло, твое место сейчас именно здесь».

Действительно, в эти ночи я чувствовал себя и на месте и при деле, но прошло время, и все стало по-старому. Опять основные обитатели мастерской продолжали враждовать со мной, их

значимость, их целесообразная красота были несомненны. Любая подставка, любой инструмент, любая бутыль говорили об этом, однако они уже годами находились в бездействии, и то единственное, что составляло их жизнь, то есть использование их по назначению, делалось моей женой лишь в незначительной степени. Потому-то когда она там в это пятнадцатилетие хотя бы эпизодически, но все же работала, на душе моей становилось легче. Поэтому также я там с удовольствием занимался фотографией, с удовольствием формовал из гипса и грубо оболванивал камни для жены. Но все это были лишь паллиативы, не способные ничего изменить по существу.

Моя жизнь в мастерской была сожительством по принуждению; тем, что я там все же жил, я был как бы фактическим победителем, в действительности же я был побежденным.

Когда через пятнадцать лет нас выселили из Серебряного, моей мастерской стала комната в два раза меньшая и несоизмеримо менее красивая, но жить мне стало куда легче.

День начинался в нашей семье не раньше девяти. За кофе папа мельком пробегал газету, с тем чтобы основательно ею заняться потом, после работы. Как многие люди его поколения, он дня не мог прожить без газеты. Гласность в России прочно распространилась в эпоху молодости их отцов и с тех пор пустила глубокие корни. До революции для чтения газеты никакого особого умения не требовалось, в газете все было написано черным по белому, пробежав две газеты разных направлений, ты более или менее был уже в курсе событий.

После революции газеты заболели агитационным психозом, а с середины двадцатых годов их содержимое стало смахивать на бредовую трескотню маньяка. Развиваясь в бесконкурентных условиях, они превратились в орудие одуривания, оглупления читателя, чтение же их — в подобие решения задач с ошибочными условиями. Папа довольно скоро сумел приобрести необходимые навыки, научился читать как бы сквозь то, что там было написано, и, таким образом, кое-что из газет выуживать. Ничего оригинального в подобном чтении не было, не он один читал газеты подобным образом, но делал он это очень квалифицированно и добросовестно.

Потребность ежедневно читать газеты осталась от прошлого. Наши отцы ощущали себя частью всего мира и хотели знать, что в этом мире делается. Они понимали, что им теперь запрещают всякую связь с миром, что газеты преследуют цель скрыть от них любую форму правды. Понимать это они, конечно, понимали, но смириться с этим не могли и потому упрямо сверлили газетные

простыни.

А я почти с детства ощущал себя объектом, на который направлены недоброжелательные стихии, направление этих стихийных ветров я ощущал непосредственно своими боками, так что никаких других ориентиров для меня и не требовалось. Чувствовать себя частью целого мира я не мог, так как о мире этом знал лишь понаслышке.

Кроме газет и собственных набитых боков, был еще и другой источник информации — это слухи. Источник этот обычно пользуется весьма скверной репутацией, однако в условиях этого полувека в России он оказался надежным. Конечно, слухи бывают весьма разного качества и столь же разного происхождения, вплоть до слухов, пущенных самой властью. Кроме того, слухи очень зависят от умственных качеств тех, через кого они прошли. Однако разобраться в этом возможно. Жизнь в конце концов научила нас этому.

Получается нечто весьма любопытное. Гласность в России создана поколениями моих дедов, и уже они не мыслили жизни без ее услуг. В этом смысле я по сравнению с ними основательно деградировал и больше смахивал на тех безграмотных деревенских мужиков прошлого века, которым для ориентира в жизни хватало собственной «поротой задницы» и недоверчиво, тупо перемолотых слухов.

Существенным делом для папы был выбор книг для чтения на ночь. Лучшим видом литературы для этого были книги по геологии, по фотографии, по технике, венцом же желаемого были книги о кристаллах и драгоценных камнях. Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. По этому случаю происходили такие разговоры:

«Не понимаю, что ты находишь в этих книгах?»

На это папа, глядя в сторону, отвечал:

«Что же я могу сделать, если ты — идиот. — И тут же добавлял: — Впрочем, не расстраивайся, многие художники устроены именно так».

«Как же именно: идиоты или не читают подобных книг?»

«И то и другое одновременно. А книги эти, к слову сказать, очень дельные. И на ночь ничего лучше придумать нельзя».

За книгами собственно литературными папа обращался ко мне. При выборе этих книг он был особенно осторожен. Прежде всего они должны были быть по-настоящему хороши, потом — быть такими, чтобы их настроение не испортило ему ночи и, следовательно, рабочего дня. Чтобы в них не было слишком занудистых длиннот и, наконец, желательно, чтобы они не слишком уж многократно им были перечитаны.

В конце двадцатых и начале тридцатых годов папа к моим литературным вкусам относился весьма критически. В эти годы в издательстве «Academia» вышло начало Марселя Пруста: «Имена местностей» и «В сторону Свана». Я упивался этими книгами, перечитывал их много раз вдоль и поперек. Папа видел у меня на столе эти книги, но тщательно их избегал, говоря:

«Ну нет, это читай сам».

Но как-то, забрав у меня том Лескова, неожиданно положил его обратно, сказав:

«Невозможно, знаю уже наизусть. Давай твоего Пруста. Черт с ним, попробую одолеть».

Наутро, прихлебывая кофе и блестя глазами, говорил:

«В этих невероятно длинных фразах, в этих скобках, в том, как он подбирает слова и, кажется, не может их найти, а в то же время находит нечто большее, в этом есть смысл и оч-чень интересно. Поначалу я с трудом его читал, хотел уже плюнуть, а потом зачитался».

С тех пор акции Пруста росли в нашем доме день ото дня, имя его звучало постоянно из папиных уст. Он зачитывался им не хуже меня. С Пруста началась и некая частичная реабилитация моих пристрастий.

Достоевского папа с юности не перечитывал и даже по какой-то случайности «Бесов» вообще не читал. Я же в те годы как раз зачитывался «Бесами», поражаясь аналогиям и неожиданным освещением первоисточников. Все мои попытки всучить ему эту книгу он прерывал в корне с нескрываемым раздражением:

«Я беру книгу, чтобы хоть как-то себя привести в порядок, а ты мне что подсовываешь?»

Наконец за отсутствием сырья ему пришлось сдаться, эффект оказался вполне неожиданный: его привел в совершенный восторг Степан Трофимович, ко всему прочему в романе он остался равнодушен. Степана же Трофимовича принял как изумительно вылепленный портрет, вылепленный необычайно художественно, глубоко, легко, точно. Я даже не могу вспомнить, чтобы какой-либо другой портрет на моей памяти его так восхищал.

Ставрогина он нашел слишком «первым любовником», а моя чрезмерная агитация в пользу Кириллова ему надоела. Он говорил:

«Возможно, ты и прав, но не моего романа».

Конечно, в Степане Трофимовиче его привлекало художественное совершенство, с каким этот образ был подан, но потом я понял и другое: то, что мы с ним находились в разном положении по отношению к прототипам этого образа. Он в своей юности мог знать и знал живых Степанов Трофимовичей и

восхищался великолепным портретом, модель коего была ему хорошо известна. Понял я еще и то, что к литературе он подходил с позиций, ему более близких, то есть искал в ней что-то близкое к скульптуре, к портрету, а все специфически литературное оставляло его равнодушным.

Засыпал папа не раньше трех часов ночи, и время с двенадцати до трех давалось ему мучительно. Это время сопровождалось плохим самочувствием, его познабливало, и вообще в эти часы его физическое состояние как-то развинчивалось, а недовольство собой, заглушенное шумом дня, звучало явственней и безнадежней. Вот для этих-то часов и требовалась помощь литературы, он боялся бессонницы и на моей памяти уже не мог спать без снотворного, а в описываемую эпоху осенью и зимой принимал двойную дозу люминала.

То, о чем я рассказываю, описывает распорядок жизни в нашей семье, но таким он был лишь в относительно спокойные периоды нашей жизни. Между тем не проходило года, чтобы на нас не сваливались какие-либо экстраординарные неприятности. Тогда наступал период защитных действий, период борьбы, хлопот, обивания порогов в поисках защиты, добывание бумаг, снабженных печатями и подписями, на это уходила масса энергии, и была угроза, что папина нервная система, и без того не крепкая, того и гляди сдаст совсем. Такие тяжелые полосы тянулись долго — месяц, два; папина работа трещала, а он сам целиком переключался на эту бесперспективную самооборону.

По фабуле эти полосы были разнообразны, но содержание имели одно, заключавшееся в том, что мы оказывались против фронта очередного советского шквала.

В конце двадцатых — в начале тридцатых годов я не только был в курсе этих дел и принимал в них участие, но активная моя роль была относительно второстепенная. Основная тяжесть лежала на родителях.

Мама относилась к этим бедствиям трезво, с чисто деловой точки зрения: надо сделать все, чтобы выстоять этот очередной натиск, а дальше все будет хорошо. Папа активнейшим образом защищался от этих напастей, но испытывал омерзение к самому процессу защиты и ни в какое хорошее будущее не верил.

Папа прекрасно понимал, что мамина вера в жизнь, ее оптимизм были временами единственным стержнем, за который мы все держались, но в то же время к этой вере в жизнь и к «обязательному хорошему завтра» он испытывал весьма основательное недоверие.

Мама была не только на редкость разумным человеком, но во многом, пожалуй, даже мудрым. Понятно, что папа неоднократно

пытался выяснить, на чем именно основывает она свою несокрушимую уверенность на хорошее завтра, и, естественно, выяснить он мог лишь то, что корни этой уверенности лежат в ее человеческом устройстве. Такое объяснение делало для него мамину уверенность не вполне доказательной.

В такие тяжелые полосы бывали вечера и ночи, когда безысходность и безнадежность буквально придавливали его. В такие ночи сидеть за письменным столом в молчании мастерской было очень, конечно, трудно, и я тогда заходил к нему.

Его, пожалуй, мучила не столько очередная конкретная навалившаяся тяжесть, сколько то, что эта новая тяжесть прорывала как бы брешь в том тумане, которым мы сами себя окутываем, чтобы как-либо не догадаться о правде. В этой прорванной бреши, в ее черноте он чувствовал, что что-то большое и безобразное наваливается на нас, думать о том, что, возможно, это и есть наше будущее, было страшновато.

Я вырос в обстановке этих шквалов, для меня подобная болтанка была почти что нормой, в надежду на лучшее я верил меньше, чем он, но считал это как бы условием игры. Точнее говоря, мой возраст и сопряженное с ним легкомыслие позволяли мне думать, что и при таких условиях игры жить можно.

Едва ли его устраивала подобная концепция, но, во всяком случае, она была ему хоть понятна, поэтому разговаривать со мной на эти темы ему было легче.

Достигал ли я чего-либо во время этих ночных бдений, не думаю, разве только того, что он выговаривался с собеседником. Правда, не слишком квалифицированным, но все же. И наконец около трех-четырех часов ночи мог принять свой люминал с надеждой, что он подействует.

Совсем особую роль в папиной жизни играли прогулки. Их отдаленно можно уподобить приобщению к тому прекрасному, что таит в себе жизнь.

Далеко не всякое время годилось для этих прогулок. Для них необходимо было хорошее теплое предвечернее время, нужно было, чтобы шквал очередных сложностей не находился близко к зениту, не менее важным было и то, чтобы папино физическое состояние было хоть более или менее сносно.

Гулять папа отправлялся или в одиночестве, или с каким-либо спутником, прихватывая зачастую и меня. От спутников тоже требовалось отвечать некоторым условиям, сводившимся в основном к тому, чтобы если они уж не могут своим присутствием украсить прогулку, то хоть умели бы не портить ее.

Прогулки никогда загодя не планировались, решение пойти гулять возникаю почти внезапно. Папа тщательно одевался,

повязывал свой самый красивый, еще парижский, галстук, надевал на палец любимое кольцо с изумрудом, набивал папиросами портсигар и, прихватив трость, отправлялся в путь. Сам ритуал одевания проходил без спешки, с толком и, пожалуй, даже с любовью к самому этому процессу, ритуал этот шел от времен для меня археологических, времен, когда папа славился своим умением одеваться очень строго и в то же время элегантно.

В нем как в человеке: и в его поведении, и в том, что он говорил и как он говорил,— не было ничего привнесенного извне, во всяком случае, заимствованного, напускного меньше, чем в ком-либо из виденных мной за жизнь людей. Между тем именно во время прогулки он раскрывался до конца и более чем когда-либо был самим собой.

Поэтому мне приятнее всего оживлять его в своей памяти именно в моменты прогулок.

В распахнутом пальто, в небрежно на затылок сдвинутой шляпе, с головою слегка приподнятой, с прядью влажных волос на лбу. Он идет большими стремительными шагами, слегка на ходу пошатываясь, размахивая тростью, стучит ее наконечником по камням. Глаза у него веселые и одновременно задумчивые, он идет, по привычке пожевывая кончики усов. Он идет, как бы впитывая в себя окружающее, и в то же время находится за тридевять земель от него.

Места наших прогулок были весьма различны, часто по пути забредали мы на московские кладбища, в те годы заброшенные и пустынные, заросшие травой, лопухами, крапивой и всяческим сорняком, заваленные черными перепрелыми листьями. Среди этого заснувшего мира возвышались то там то сям элегии из камня и бронзы, сделанные замечательными художниками и безымянными мастерами-ремесленниками.

В описываемые годы москвичи как-то конфузились кладбищ, насчет смерти было не вполне ясно — можно это или нельзя. Во всяком случае, считать смерть делом вполне советским было затруднительно, в смерти чудилось что-то глубоко не марксистское, и потому такое прозрачное напоминание о ней, каким были кладбища, воспринималось населением как бестактность. Уже по одному этому стоило посещать московские кладбища.

Если наша прогулка начиналась с Новодевичьего, мы спускались к прудам, обсаженным огромными старыми ветлами, и, пройдя через бесконечные огороды, перебирались на тот берег реки. Здесь, на поросших липами отрогах Воробьевых гор, была уже не городская прохлада, и оттуда, сидя на бугорке, мы смотрели, как летний город тонул в сине-лиловых вечерних

сумерках, как на фоне их вырастали отороченные нарядным кружевом каменные цитадели Новодевичьего.

Если наш путь начинался с Донского, то туда мы шли так, чтобы пройти мимо усадьбы, описанной в «Первой любви» Тургенева, воспоминание о которой мне удалось лишь недавно и довольно коряво изобразить в иллюстрациях к этому роману. И я рад, что трижды в них изобразил тот прелестный мраморный фонтанчик с крылатым толстеньким эльфом, держащим над головой чашу большой раковины, который стоял в саду перед домом. От всей этой усадьбы теперь и следа не осталось.

Потом мы шли через бывшие Ноевские оранжереи к Мамоновой даче и спускались к реке. Если в то время в карманах у нас был свободный рубль, мы могли нанять лодку и плыть в ней по густой темной реке в направлении Крымского моста среди темноты парков и маслянистых огней набережной.

Если же нашей исходной точкой был Даниловский монастырь, то оттуда мы тоже пробирались через задворки к реке. Там местность сразу менялась, увеличивались масштабы всего, большие бугры, буераки и плоскости — все было величественно, печально и голо. Закатное солнце било нам в спину, река была широка и медленно несла тяжелые желто-оранжевые воды. На противоположном берегу на высоких, поросших травой буграх стоял, упираясь в эти бугры своими слоновьими ногами, Симонов. Самый грандиозный и монументальный из монастырей Москвы. Тот, кто первым среди равнин встречал татар и прикрывал мощью своих башен и стен Москву.

Пока мы ждали перевозчика, река становилась аметистовой, когда мы переплывали ее, река бледнела, и все выше вздымались к небу колоссальные башни.

Уже на том берегу, взбираясь на кручи, мы все более и более понимали слово «твердыня» и слово «история». История там казалась не дном колодца, а только что промелькнувшими сутками. Казалось, что, вглядевшись в унылую равнину московского пригорода, равнину, навстречу которой гиганты башни выпятили свои граненые груди, ты увидишь на горизонте этой равнины пыль и в ней очертание лавины из коней и людей и услышишь те омерзительные звуки криков, гогота и присвиста - звуки, которые так плотно вошли в наше существо, что при мысли о них до сих пор содрогается наше сердце.

Через несколько лет монастырь этот под лозунговые выкрики оголтелых энтузиастов тридцатых годов двадцатого века был взорван и срыт, а на месте его построено здание, наименованное Домом культуры, сооружение убогое, как стенгазета.

От Симонова мы долго добирались до конечной остановки

трамвая, усаживались в нем у окон и, грохоча и скрежеща железом, ползли по окраинам к центру. Там пересаживались и теперь летели по освещенным электричеством, бурлящим людскими потоками улицам и вдоль совсем темных таинственных бульваров. Наконец мы выходили в районе Арбатских ворот и шли по извилистым темным переулкам приарбатья. Мы шли в окружении светящихся окон за каждым из которых была своя жизнь. Там любили, и делали зло и радовались, и плакали, так что вернее, что эти окна были светящимися глазами смотревшими в темноту улиц и переулков и ждавшими от них утешения.

Наконец мы попадали домой, в Серебряный.

Есть ли на свете что-либо прекраснее этой усталости после прогулки. Мы возвращались освобожденные, вытряхнув из душ весь мусор. Мусор набирается в нас во все возрасты, и также и в юности. Мусор этот приобретает вес лишь относительно индивидуума.

К тому же мы возвращались еще и наполненными ощущениями живой жизни, ее трепетом, ощущениями многообразными и по сути своей невместимыми. Мы были переполнены ими и несли их в себе, боясь расплескать.

Ты вытянешься под простыней на кровати, пристроишь получше к подушке голову, и тут наступит момент, когда ты уже не бодрствуешь и еще не спишь очень короткий момент, и тогда ты почувствуешь то, как ты устал и то что мир, который ты выпил, весь в тебе, навсегда.

И ты спокойно заснешь.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

<…>

Глава II

Я, живший в художественной среде, столкнулся с искусством, когда едва-едва начал смутно что-то различать в окружающем меня мире. Таким образом, художественная атмосфера дана была мне как бы при самом рождении. Лично мне принадлежит лишь исключительная к ней восприимчивость и отбор. Очень рано, чуть не с восьми лет, живопись, поэзия, проза и их неизменная спутница история стали для меня единственными интересами. Все прочее отскакивало от меня. О чем говорит математика, я не понимал, остановить свое внимание на физике не мог слово «химия» вызывало подобие изжоги.

Уже говорилось, что родители к моим школьным делам были

совершенно равнодушны. Однако не только родителей, но и многих близких знакомых смущало мое равнодушие к чтению вообще. Ведь, казалось бы, мальчик, не слишком отягощенный школой, имеющий явно свои интересы, назовем их литературно-художественными, должен в свободное от «лоботрясничанья» время много читать, а этого как раз и не было. Речь идет о времени, когда мне было одиннадцать—тринадцать лет И вот эти близкие знакомые, желая скорректировать родительскую индифферентность, стали приносить мне уйму книг именно таких, которые должны бы были, по их понятиям, сильно заинтересовать всякого мальчика. Результат был самый плачевный, одолеть эти книги я не смог. Ни Жюль Вернов, ни Куперов, ни Вальтер Скоттов читать я не мог как тогда, так и впоследствии. Мне стоило прочесть несколько страниц, как меня охватывали несусветная тоска и скука. Но все это было еще полбеды, хуже было то что я стал бояться книги: откроешь ее — а там опять та же белиберда.

Так родился миф о неглупом мальчике который не способен читать книги. Конечно, я подал достаточно поводов для создания этого мифа. Однако в действительности дело обстояло иначе.

Я научился читать тогда же, когда все обычные дети научаются этому делу. Объектом моего чтения сразу стали Пушкин и Лермонтов. Я читал их запойно от корки до корки или выборочно какие-то куски, настоятельно требующие в данный момент возобновления. Хотя я больше всего хотел читать стихи, но у Пушкина и у Лермонтова предпочитал прозу. Мне просто было необходимо залезть внутрь повествования, соучаствовать в нем или хотя бы чувствовать авторский локоть. Естественно, при таком чтении я наизусть знал целые страницы или даже главы, но мне все равно было этого мало. Я читал заново и находил такие интонации, такие новые для меня повороты, что всегда поражался, как же я этого не замечал раньше. Эта манера вечно перечитывать знакомое, стремиться ощутить «до лопаток» понравившуюся мне книгу сохранилась у меня и поднесь. Любопытно, что когда русская и мировая литература хлынула на меня потоком, а это было в четырнадцать лет, то оказалось, что я часто встречался с чем-то, что было перечувствовано и передумано в далеком детстве в пушкинско-лермонтовский период моего чтения.

В тот же период я столь же запойно и неотрывно читал Евангелие и отчасти Библию, и каждое новое чтение этих книг оказывалось таким новым, что казалось, что я читаю их впервые. Но это как раз понятно, ведь книги эти абсолютно бездонные, и, пожалуй, человечество ничего бездоннее их не написало и не

напишет.

Взрослые, если натыкались на меня, читающего толстеннейший том Священного Писания, говорили, смеясь: «Ты что, наизусть это зазубриваешь?»

Наизусть Евангелие я даже фрагментарно не знаю и по сей день, книги эти не для «наизусть».

К вопросу о чтении следует прибавить и мое внимательное прислушивание к разговорам между взрослыми. Я старался отцедить из слышанного все, что касалось искусства, литературы, религии. Надо сказать, что литературные разговоры за нашим чайным столом были весьма редки, а вопросы, связанные с религией, могли упоминаться лишь вскользь. Однако с меня хватало и этого, что-то нужное я умел выжать для себя, несмотря даже на то, что никогда не решался задать сам вопрос или переспросить.

Ценнейшим подспорьем для моего образования было рассматривание. Здесь я говорю не о моем постоянном шлянье по музеям, которых в те годы в Москве было с большим избытком. Я говорю о рассматривании книг по искусству, журналов начала века: «Мир искусства», «Старые годы», иллюстрированное приложение к газете «Русское слово» — журнал «Искры», и, наконец, обожаемый мной «Сатирикон». Завалы этих журналов лежали в библиотечных шкафах и были всегда к моим услугам. Я же готов был целыми днями их переглядывать, без всякого труда вживаясь в тот мир, который они отображали. Даже в ряде последующих десятилетий я для многих был ходячим библиографическим справочником, мог без запинки сказать, в каком году, в каком толстом журнале и даже в каком номере напечатано то-то и то-то.

Настоящее чтение пришло ко мне поздно, в четырнадцать лет, и проложил мне дорогу туда Тургенев. Объяснить это я могу лишь сугубо субъективно, что-то нас роднит, недаром я около тридцати лет делал иллюстрации именно к его произведениям. Тургеневское мирочувствование, та воздушная атмосфера, которая окутывает почти все им написанное, настолько мне близка, что кажется мне моей собственной. Да простится мне этот приступ мании величия. Со стихами было еще проще, тяга к ним была у меня всегда, но по-настоящему дорога в русскую поэзию открылась для меня в те же четырнадцать—пятнадцать лет после знакомства с поэзией Пастернака.

К мифу о нечитающем мальчике мой отец относился равнодушно, а вот мое невежество в области естественных и точных наук ему явно не нравилось. Пытаясь что-то для себя выяснить, говорил:

«Послушай, братец, а ты, часом, не идиот?»

Я, естественно, протестовал, тогда папа говорил:

«Ну, если ты в этом твердо уверен, рад за тебя. Но ведь это же на самом деле все очень и очень интересно».

К невежеству, безграмотности в этих вопросах он был либерален, но отсутствие у меня всякой в этих делах пытливости его раздражало:

«Ну и однобокий же ты, просто черт знает что. Абсолютно не понимаю, что из тебя получится».

Для того чтобы это было понятнее, надо помнить, что мой отец родился, вырос и возмужал в девятнадцатом столетии, в самой сердцевине верхушечного слоя пресловутой русской интеллигенции. В этой среде нормально образованный человек не мыслился без того, чтобы он не был хоть как-то знаком с естественными и социальными науками. Человек, лишенный широкого научно-политического кругозора, воспринимался просто как неинтеллигентный. Люди девятнадцатого века еще твердо стояли на земле и ждали именно от науки феерических перспектив.

Верным это было не только для того века, но и для начала двадцатого. Естественно, что папе не очень приятно было видеть своего сына каким-то духовно однобоким калекой. Странно, что папа хорошо знал, что наиболее образованные слои интеллигенции ни черта не смыслят в искусстве, и, однако, легко им прощал это. А вот невежество художника терпел с трудом.

Теперь, когда я пишу эти строки, как-то все обстоит иначе. Среди моих близких знакомых немало людей, стоящих по праву на вершинах научно-иерархической лестницы, и никому из них не приходит в голову считать свою науку чем-то общеобязательным. Скорее наоборот, нечто более значительное и общеобязательное они хотят видеть и в искусстве, и в литературе, и даже в элементарном богословии, которое им почти неизвестно.

Но сейчас на дворе стоят восьмидесятые годы двадцатого века, чудеса техники стали чем-то обычным, а глобальные научные открытия, значительно обогнав технику, решили временно отдохнуть. Но даже после заслуженного отдыха позитивные науки, если им удастся расправить крылья и народить новых Эйнштейнов, едва ли займут царственные престолы в жизни человечества.

Папа, как и многие в двадцатых годах, очень увлекался Шпенглером, противоречия в этом я не вижу. Ведь сила этой прекрасной книги именно в том, что Шпенглер рассуждает с тех же позиций конца девятнадцатого — начала двадцатого века.

Однажды, во времена, когда мне было двадцать два—

двадцать четыре года, папа увидел меня, читающего «Апофеоз беспочвенности» Шестова. Сердито сверкнув глазами и усмехаясь, сказал:

«Только этого тебе не хватало. И так еле-еле на ногах держишься. Книга ка-ак раз по тебе. Благодарнейшего читателя Лев Исакович в тебе обрел».

Свое сожительство с теми интересами, коими живу и по сей день, я числю почти с рождения, календарные же даты — это нечто притянутое за уши. Такой датой можно считать окончание средней школы, которую я юридически даже не окончил, уехав за месяц до окончания на дачу к Кончаловским, где и застрял на все лето. С начала зимы надо было уже серьезно думать, куда себя пристраивать, хотя это не совсем верно, так все решилось раньше и само собой.

Выбор мог быть между искусством и литературой, ни с тем, ни с другим мне расставаться не хотелось.

Слово «выбор» следует понимать как литературный оборот, в действительности и выбора-то никакого не было. Я и тогда прекрасно понимал, что литература как специальность — дело не по мне и абсолютно исключающее возможность заниматься изоискусством. Тогда как любой вид изоискусства никогда никому не мешал писать, и в «любительщине» ни Фромантена, ни Делакруа никто не обвинит. Но это всего лишь рассуждения, и существовали они подспудно.

Было нечто куда более для меня важное и решавшее категорически вопросы о литературе. Это было вето, наложенное Борисом Леонидовичем Пастернаком на мою деятельность на этом поприще. Понятно, что на самом деле никакого вето не было, просто я воспринимал это как вето, и этого было вполне достаточно, чтобы я через всю жизнь пронес любовь и чувство благодарности к этому человеку. Это был тончайший, трогательно деликатный человек, он умел за поверхностью слов слышать пульсацию, за образом или мыслью — те подземные ключи, которые их питают; поэтому так легко было при встречах с ним разговаривать и одновременно столь трудно.

Таким образом, литература была отметена значительно раньше, чем встала проблема о том, куда себя практически пристраивать. Изоискусство всегда незыблемо оставалось моим основным интересом. Из всех видов искусства больше всего меня тянула живопись. Слово «тяга» тут не совсем правильное, дело в том, что на все: на скульптуру, архитектуру, прикладное искусство, даже просто на окружающий мир, — я смотрел с позиции цвета. Это было не только тогда, это же осталось и до сегодняшнего дня, это относится и к литературе: только уловив в

ней цветовую гамму, я как бы начинаю в ней ориентироваться. Несмотря на все мои живописные неудачи, только краски и кисти способны делать из меня не пасынка, а как бы правомочного человека мира сего.

Таким образом, я вплотную подошел к живописи.

Здесь мне хочется сделать отступление, забежав на много лет вперед, для того чтобы еще раз преклониться перед понятием «судьба». Для меня судьба идентична понятию Промысла Божьего, но всякий пусть понимает это на свой лад, я написал слово «судьба» потому, что оно звучит скромнее.

Судьба грандиозна, понять ее величие не в наших возможностях, ведь она ко всему еще и необозрима. И все же нам иногда дано увидеть, как она уверенной и доброй рукой ведет нас именно туда, куда надо. В результате ряда общественных и жизненных пертурбаций я стал иллюстратором литературных произведений. Моя воля в этом не только не участвовала, а скорее наоборот, я брыкался и мешал этому. И вот получилось как-то так, что теперь я могу сказать, что оба потока моих устремлений, литературный и художественный, слились воедино.

Если бы передо мной лежал некий чистый лист и мне бы предстояло его заполнить именно так, как я хочу, содержанием своей жизни, то едва ли я по своей воле сумел бы заново, за исключением, понятно, деталей, изменить его в крупном, сделать что-то мудрее и лучше.

То, что я пошел по искусству, понятно, очень расстраивало мою маму. Она предпочитала для меня более безопасное плавание, видеть меня хотя бы доктором-ларингологом ей было бы куда приятнее. Но она была слишком умна, чтобы думать, что слова в данном случае могут хоть что-то изменить. Чтобы смягчить для мамы эту неприятность, я говорил всем, что буду поступать на архитектурный факультет, но постепенно всем моим ближним стала понятна истина, и к ней как-то привыкли.

Папа, посмеиваясь, говорил: «Бедная мать, ничего не скажешь, не повезло ей в жизни. Выходила замуж за вполне приличного студента-юриста, а оказалась женой скульптора, а теперь еще единственный сын попер тоже по искусству».

Сам же папа к моему решению внешне относился с осторожным невмешательством. Он явно давал мне понять, что задача эта со всеми неизвестными. Именно это понимал я сам даже тогда, но относился к этому абсолютно равнодушно. «Как у тебя с этим получится, я даже и приблизительно не догадываюсь, в этом деле ничего не предугадаешь. Во всяком случае, по твоему складу должно было быть что-то в этом роде».

Я же все это вплоть до интонации пропускал мимо ушей. А уж

кому-кому, а мне-то следовало повнимательнее прислушаться не только к интонации, но постараться понять, что думает по этому вопросу папа. Правда, это не изменило бы моих намерений, скорее создало бы брешь в моем упрямстве, упрямстве, которое так мне пригодилось гораздо позднее, в годы моего учения, но тогда, в поздние годы моего ученичества, поддержку в «упрямстве» я имел именно от папы. Но для этого нужно было время, чтобы он смог серьезно в меня поверить. Впрочем, об этом говорилось раньше. Возвращаясь назад, скажу, что если бы я был повнимательнее, то, вероятно, понял бы, что единственным серьезным «за» была моя всепоглощающая любовь к искусству. Правда, ныне, на старости лет, сталкиваясь с людьми, которых как-то обучаю или опекаю в искусстве, я этой самой любви придаю первостепенное значение. Во времена, о которых я пишу, были, конечно, и другие «за», но были они столь маловыразительны, что говорить о них не стоит. Что касается всех «против», то они по своей природе таковы, что возникают во времени, и вот о них-то мне и приходилось разбивать лоб, как об стену. Итак, на одной чаше весов — любовь и упрямство да еще всякая труха, а на другой — пропасть весомых «нет». Вот и встает вопрос: да стоит ли в подобных делах раздумывать?

К нашему великому счастью, мы в юности такие одурманенные, такие невнимательные, такие решительные, что раздумию предпочитаем действие. И именно эта особенность юности протягивает нам иногда свою благодетельную руку.

Те обстоятельства моей жизни, о которых я пишу сейчас, протекали в конце двадцатых годов, а говоря календарно, в двадцать седьмом—двадцать восьмом годах. Нельзя предвидеть, как расценят будущие историки русскую культуру двадцатых годов, но это не мое дело. Ныне, в восьмидесятых годах, я наблюдаю какую-то нелепую фетишизацию этого времени. Я в этом вопросе ничем не связан, на мои глаза, это время нельзя отделять от предыдущего. Это естественное, хотя и слегка увечное продолжение русской культуры вообще. Концом же этого десятилетия, по-моему, были скверные годы, годы слома русской культуры. В эти годы ее деятели были подобны тем тяжелобольным, которые расценивают свои страдания как некие разобщенные временные тяготы, от которых их избавят время и обстоятельства. Теперь, в обратной исторической перспективе, ясно видишь трогательно-грустный трагизм тех лет.

Люди тогда еще надеялись и твердо ждали лучшего и также, подобно тяжелобольным, были склонны хвататься за всякую надежду и невероятно раздувать именно те симптомы, которые могли им внушать надежду хоть на какое-либо выздоровление. И

действительно такие симптомы как будто были, но относиться к ним серьезно не стоило.

Для окружающих меня взрослых будущее было покрыто туманом, а я был мальчиком восемнадцати лет и серьезно над ним не задумывался. Для меня искусство казалось вечным и вневременным, зависящим только от его автора.

Под искусством я в те годы подразумевал воздух, которым были пропитаны бывшие особняки Щукина и Морозова, воздух жизни и света парижских мастерских, воздух, который в консервированном виде, в виде картин и скульптур, был вывезен оттуда и доставлен в Москву. Всматриваясь в эти картины, я дышал воздухом, в котором они когда-то были сделаны, и думал, что это мой воздух, моя жизнь.

Блистательное мирочувствие этой живописи казалось тогда не только неисчерпаемым, скорее казалось, что оно лишь в начале пути, а сам этот путь открывал захватывающие дух перспективы.

На сегодняшний день все это звучит дико. Но стоит ли оправдываться, ведь таков я был тогда не один, и грешны в этом были не только некоторые из моих сверстников, но и большинство наших учителей.

При выборе художественной школы, в которой я хотел подучиться, чтобы поступить во Вхутемас—Вхутеин, надо мной, как всегда, ничего не довлело, и я выбрал школу, находившуюся в сфере влияния Фаворского. Это была маленькая студия, руководимая Павлом Яковлевичем Павлиновым. Чем именно руководился я, сделавший этот выбор, не берусь сказать. Чем-то тогда меня очень привлекало все, что было связано с Фаворским. Но главное было в том, что в те времена эта студия была и поярче и поинтереснее тех немногих подобных ей заведений.

Далее судьбе было угодно связать меня на целых десять лет именно со школой Фаворского. Зачем судьба не захотела освободить меня от столь чуждых для меня тенет, это ее дело. По-видимому, это была часть того искуса, который мне следовало одолевать, чтобы обрести хоть как-то самого себя...

Время, в которое протекало мое институтское обучение, было временем концлагерей, причем во всех формах и объемах. Началось оно задолго до этого и стало хоть как-то смиряться более чем через два десятилетия. Концлагерь был всюду, но самым тяжелым концлагерем для меня был мой институт.

Студийские и вхутемасовско-вхутеиновские времена вспоминались наивным и милым детством. Однако не следует забывать, что именно в их недрах создавалась «передовая» система и загнездилась школа. Мне кажется, что система — это

нечто противоестественное, любая сверхпередовая система может существовать лишь весьма ограниченное время, далее она превращается в путы, в оковы. Системы, школы, художественные течения с ходом времени превращаются в ограничительные рамки, из которых искусство стремится вырваться. В условиях концлагерного режима они становятся страшным орудием в руках тюремщиков.

Мой институт проходил между тридцать вторым и тридцать восьмым годами, и говорю я лишь о себе. Как воспринимали его другие мои соклассники, я не знаю: чужая душа — потемки. Возможно, что мое восприятие института разделяли немногие, возможно, что большинство чувствовало иначе. Если даже среди взрослой, еще старой русской интеллигенции было немало таких, которые не понимали, что вся Россия уже давно концлагерь и что, следовательно, любое ее учреждение — это тот же концлагерь, но в меньшем объеме, то что же ждать понимания от двадцатилетних недорослей. Они были молоды, некоторые из них приехали сюда, в «великий центр культуры» — Москву, из своих медвежьих углов; некоторые москвичи по жизни дорвались до великого центра — школа, которой руководили столь замечательные люди. Жизнь била ключом, они были полны надежд, и далеко не всегда безосновательных, при таких предпосылках нужны очень, очень многие годы, а может, и десятки лет, чтобы хоть что-то понять. Нужно еще нечто, что скромно называется «понятливость».

С тех уже очень далеких институтских пор я твердо знаю, что слово «история» одно сплошное недоразумение.

Все формы удушения, террора, концлагерей создаются отнюдь не мановением чьей-то руки, не политиками, не правительствами и уж конечно не диктаторами. Создаются они всем обществом, скопом, коллективно. В концлагерях повинны и жертвы и палачи, более того, невозможно отличить палачей от жертв.

Тем, кому кажется, что он утверждает свою волю, те, кто теряет ее, — всем им уготовано одно и то же: сидеть за колючей проволокой.

Ни бунт, ни протест, ни слюнявая болтовня о свободе и демократии никого от концлагерей не уберегут.

Концлагеря, вернее, их составные элементы, надо изжить в себе всем людям скопом, коллективно. Изжить, как в отдельных жизнях изживаются чувства и настроения.

Десять лет я промаялся в этой своей школе. Я мало чему там научился, но я заматерел там, приобрел выносливость, окреп, возненавидел любую форму нормативизма, познал худший вариант одиночества на людях, отчасти ей я и обязан тем, что без

нытья, с верой сумел прожить.

Тот день, когда мой институт вместе с Владимиром Андреевичем и его присными остался для меня позади, был таким днем в моей жизни, что и пытаться описать его невозможно.

Ранним июньским утром девятьсот тридцать восьмого года я пересекал огромное Вяземское поле.. Оно цвело всем, чем были тогда еще богаты подмосковные поля. Роса на высоких стеблях трав, окаймлявших дорогу, блестела, как бусинки. Я старался в такт шагам размахивать рукой и задевать влажную поверхность высокой травы.

Была рань, синеющее небо было туманно, облака на нем были прозрачные, легкие, как дымок. Еле заметный туман поднимался из дали лесов. «Экая славная минута».

<...>

Глава IV

В повествование о тридцатых годах я вклинил рассказ о годах своего учения, потому что они протекали именно в эти годы. Теперь же возвращаюсь к прерванному.

Еще с конца двадцатых годов миф о том, что сеть осведомителей настолько огромна, что ею все пронизано, что почти ни на кого положиться нельзя, миф этот превратился в непоколебимую уверенность и стал уже реальным фактом жизни. На кого только в те годы не тыкали пальцем насмерть перепуганные граждане: что «вот этот (или эта), абсолютно ясно, являются осведомителями». Несмотря на то, что осведомители были повсюду и часто ими могли оказаться люди совсем неожиданные, даже и тогда казалось, что их вездесущность явно преувеличена, не так уж они были нужны для жизни Лубянки, для ее дел, Лубянка прекрасно могла обходиться без них. Так что скорее всего это был миф, созданный самодеятельностью граждан и активно поддержанный властью.

Значение и последствия этого мифа огромны, они в большей чем что-либо мере затруднили возможность общения между людьми. Откровенность даже в сравнительно невинных вопросах стала чем-то рискованна, опасна, а далее, пожалуй, и невозможна.

В те годы казалось, что целиком положиться возможно лишь на совсем немногих людей. Безусловное, не вызывающее никаких сомнений благородство человека, бескорыстие, искренность, альтруизм — все это казалось гарантиями недостаточными, требовалось еще, чтобы человек был умен, ловок, изворотлив и чувствовал ситуацию, а сочетание таких качеств в одном человеке

не часто встречается.

Так разрушались последние звенья соединительной ткани человека с человеком, так умирало окончательно общество, превращаясь в говорящих, как попугаи, разобщенных обезьян.

В описываемое время я был студентом и волей-неволей должен был ежедневно общаться с относительно большим контингентом людей, правда, в те годы посадки среди студентов были, по-видимому, единичными. Однако чем больше было людей, с которыми ты приходил в соприкосновение, тем больше увеличивались и шансы быть нащупанным соответствующим заведением. Попасть же в поле зрения этого заведения можно было по-разному, прежде всего по разверстке, указательный перст мог быть ткнут совершенно случайно в твое имя, с этим, понятно, ничего поделать было нельзя. Но могло быть и иначе, тоже благодаря случайности, но такой, в которой ты все же был хоть как-то не безучастен, такой, в которой роль судьбы взяли на себя твои собеседники.

Если оставить в стороне злобность, то есть что-то типа провокации или доноса — это надо в данном случае игнорировать, так как злобность свойственна всем вообще временам, одним более, другим менее, — то здесь говорить нужно лишь о неосмотрительности, наивности, легкомыслии собеседника. В твоем присутствии могло быть рассказано нечто неподходящее, или твои слова могли быть кем-то поняты неправильно и в таком виде запомнены. И вот человек, не желающий тебе дурного, даже искренне тебе симпатизирующий, повторит их где-то там, где делать этого не следовало, и все — мышеловка могла захлопнуться. Таких вариантов могло быть бесконечное количество. Спастись от них почти невозможно, тем не менее многие стремились избегать подобных ситуаций. Иными словами, стремились представить себя глупее, чем были в действительности, стремились так разговаривать, чтобы за их словами нельзя было увидеть хоть какую-либо мысль.

Здесь, естественно, приходит на ум классический стиль мужицкого разговора, где цель обратна смыслу этого самого Божьего дара, так как состоит в том, чтобы произнести как можно больше слов и в то же время чтобы в словах этих никакого смысла не было. Для того чтобы так разговаривать, надо обладать соответствующим даром, а дар этот, к сожалению, врожденный.

Впрочем, у подобного низкопробного стиля есть и более цивилизованная форма — это форма почти уже вымершего теперь так называемого светского разговора. Это разговор лишь на общепринятые темы и в общепринятой их интерпретации при обязательном соблюдении условия скольжения по поверхности. В

переводе на язык современности это изложение сегодняшней передовицы газеты «Правда». Подобный стиль — это тоже издевательство над великим даром человеческого слова, это не только бессмысленная растрата, это уничтожение этого дара.

По первому взгляду может показаться, что я говорю о чем-то совсем незначительном, однако так ли это? Ведь если мы издавна хотим узнать, как и что объединило людей, создало то, что мы понимаем под словом «общность», и, далее, то, что мы хотим называть культурой, то, уж конечно, нам должно быть важно знать и обратное: что и как разъединяет людей, что уничтожает эту самую общность — культуру.

И вот, оказывается, сумей обесценить и обессмыслить человеческую речь — и ты разрушишь мир не хуже, чем при помощи расщепленных атомов, и все надо будет начинать сначала.

В тридцатых годах заметно улучшилось материальное положение творческих работников. Для большинства их как-то урегулировался вопрос с заработком, а с середины тридцатых годов они снова стали не только полноправными членами советского общества, но в известной степени привилегированными. На этом этапе житейские интересы творческих работников уже активно и твердо защищались властью.

Это улучшение материально-бытового положения писателей, художников, артистов, ученых и прочих шло параллельно с зажимом всякого творчества, с насильственным введением его в такое русло, в котором оно переставало быть творчеством, с убиением, уничтожением его. Получалось положение, при котором власть как бы говорила: «Мы даем тебе есть, а ты уж изволь делать то, что нам нужно, да и как нужно».

Конечно, это положение очень отличалось от того, что было раньше, в двадцатых — начале тридцатых годов, когда преобладающим отношением к деятельности творческих работников было равнодушие, когда чувствовалась, что сейчас «не до них», что дело их в лучшем случае третьестепенное. Теперь культурная деятельность получила права дворянства, а жизненные условия самих деятелей стали полегче, зато под понятием «культура», «творчество», «искусство» стало пониматься нечто такое, что ни с какой культурой, творчеством и искусством не сопряжимо. Если сами деятели культуры от всего этого в житейском плане, в плане честолюбия что-то и выиграли, то культура постепенно, но неуклонно полетела в тартарары.

Большинство ничего не поняло из того, что произошло, или поняло лишь с большим запозданием.

В те годы многими считалось, что есть какая-то возможность соединить нечто терпимое для власти и подлинное искусство. Актеры считали, что образ всегда остается образом, и сыграть его можно хорошо и плохо, а это уже зависит от меня, от моего дарования. Конечно, рамки теперь очень сузились, регламентировались, но ведь были же времена, когда рамки тоже были узкими, а от этого искусство никак не страдало.

Художники думали, что форма всегда остается формой, дело лишь в том, как ты ее сделаешь, что в нее вложишь, а это тоже зависит только от тебя. Даже Владимир Андреевич Фаворский говорил некоторым ученикам: «Почему вы избегаете этих тем, форма же всегда остается формой».

Писатели думали, что жизнь во все времена остается жизнью, люди всегда рождаются, растут, любят, не любят, работают, думают, чувствуют, болеют и умирают, об этом ведь никто не запрещает писать, и всегда можно написать так, чтобы избежать рискованных ситуаций. К тому же не все, что хотела от писателя власть, было уж так безнадежно нелепо. Таким образом, даже писатели думали тогда, что путь к литературе для них отнюдь не закрыт. Что получилось из всего этого — общеизвестно, да ничего другого получиться и не могло, никакое искусство не может развиваться на почве, пропитанной ложью, на подобной почве оно может лишь чахнуть и погибать.

То, что сделано в искусстве за это и последующее десятилетие такого, что может быть причислено к искусству, до смешного количественно мало. Сделано оно крохотной горсткой людей, чудом сохранивших душу живую, сделано наперекор власти людьми, ставшими сознательно спиной к этой власти.

Политика подкармливания интеллигенции началась с первых годов революции, цель ее была сохранить от вымирания эту особь. Теперь эта политика продолжалась, рацион количественно и качественно изменился, но цель была уже откровенно иная. Состояла она в том, чтобы впрячь творческую интеллигенцию в победоносную колесницу тех, кто стоял у власти. Наряду с подкармливанием существовало также давно и специальное прикармливание некоторых особо подходящих индивидуумов, но с тридцатых годов началось в этом вопросе нечто вроде как новое. Началась уже резкая внешняя дифференциация положения интеллигенции и размещение ее на различных ступенях иерархической лестницы. Теперь создавалась некая четко отграниченная верхушка, формально и внешне как бы приближенная к власти. Говоря старинной терминологией, был создан контингент, допущенный на большие дворцовые приемы, но на жизнь двора не влияющий.

Не знаю, надо ли напоминать, что ни папа, ни Крымов, ни Нестеров даже близко к этой публике не находились; они и кое-кто еще как были, так и остались единичными, отделенными, так сказать, сами по себе.

Не помню точно, но, по-видимому, в середине тридцатых годов с высоты олимпа прозвучали слова: «Жить, товарищи, стало лучше, жить стало веселее» — и сразу в государственном масштабе это отвлеченное положение стало доказываться на деле. Началась эпоха торжественных приемов, банкетов, чествований, юбилеев и прочего. Торжества эти устраивались на всех уровнях и по всяким рангам, на них на казенный счет уничтожалось несметное количество всякой жратвы и напитков.

Страна праздновала неведомо что, неведомо по какому случаю торжествовала и уж совсем непонятно кому воздавала хвалу. В это же время в застенках лубянок всех советских городов без счета уничтожали людей. В концлагерях гибли миллионы, и непрерывно по промерзлой земле черные жирные паровозы тащили эшелоны, подвозя на восток все новые и новые искалеченные человеческие жизни.

И именно теперь на торжественных правительственных приемах в свите палачей, в ее арьергарде шли грудастые актрисы, российские «витии» — сеятели доброго, вечного, ученые, киношники и разные другие. Они были трубадурами эпохи террора, их улыбающиеся физиономии говорили, что все правильно, все в порядке. В надежде попасть в трубадуры целая туча глаз человекоблядей, молящая, просящая, скулящая, была обращена вверх. К солнцу, к власти.

Что же это давало самим трубадурам? Вернее всего, что ерунду, нечто вроде государственного признания, столь ценимого творческими натурами, весьма сомнительные надежды, что в этом заключен лишний шанс, что тебя не посадят, некоторое количество объедков с хозяйского стола (не нужных, по существу, этой публике), а главное — это чувство своего превосходства над тем, кто не попал в эту свиту. Собственно, только последнее можно рассматривать как нечто реальное и по-своему стоящее, все остальное — фикция.

Боже, до чего противный осадок оставляли случайные встречи с этими вознесенными, и твоя собственная дурацкая радостная улыбка от встречи с близким когда-то человеком, и его поначалу ответная — все это вспоминалось потом с отвращением. Ведь ты теперь встретил совсем не то, всего лишь старую, когда-то знакомую оболочку, сундук, теперь набитый какой-то дрянью.

Понимали эти люди, сколь высокой ценой платили они за свое эфемерное положение? Едва ли, едва ли теперь они вообще

что-либо понимали, они были уже и слепы и глухи. Даже подчас незначительную грань иерархического подъема выдерживали лишь совсем немногие, для большинства эта грань была началом духовного конца.

Начиналось с чего-то малого, с ерунды, с попытки найти твердую почву и опереться на нее, найти ее не внутри себя, а вовне, во внешнем мире, в узаконенности своего положения, с попытки найти свое место в государственном устройстве — словом, все начиналось с чего-то совсем невинного и вполне естественного. А дальше следовали попытки утвердиться на этой почве, страх за сохранность такого положения, а потом постепенно терялись связи с действительностью, с окружающим миром, собственная жизнь становилась вымышленной, фиктивной, абстрактной, здесь начиналось разложение, а на какой-то стадии — и духовная смерть. Это явление, мне кажется, положило предел возможности серьезного разговора о русской интеллигенции, ее как явления просто не стало. Существование ее в прошлом тоже стало казаться сомнительным. Ее историческое прошлое стало вспоминаться весьма несолидно, глуповато, слегка смешно, еще более — грустно и невероятно раздуто. От всего этого несло «овеян ико - куликовским», саморекламой и прочим. В те годы, когда я уже активно вышел в жизнь, никакой русской интеллигенции и в помине-то не было.

Кое-где в глубокой тени, в щелях подполья, жили отдельные люди, их число абсолютно ничтожно, люди, сохранившие до могилы свою душу живой. Ничего другого обобщающего продумать для этих людей нельзя, их связь с русской интеллигенцией — только разве происхожденческая, паспортная, анкетная принадлежность к тем или иным бывшим сословиям.

Когда по прошествии времени целая эпоха затянется туманом забвения, из него выплывут и станут видимы лишь эти люди, их дела, их имена.

Трудно, очень трудно вспоминать эти годы, слишком было все тяжело тогда, слишком туманно, неопределенно, отрывочно. Еще труднее их изображать, слишком уж были они грандиозны, вернее всего, по-настоящему их изобразить вообще невозможно.

Пожалуй, это лучше получится у тех, кто не видел ночного Арбата, обледенелого, заснеженного, уже заснувшего, с темными дымчатыми плоскостями своих разновеликих домов, с редко рассекавшими темноту и нескромно вытаращенными глазами освещенных окон. Арбата, на котором в этот час почти уже не было прохожих, когда по самой середине этой улицы, по белой его линии пролетали упористо, мягко и с бешеной силой стайки из трех черных как вороново крыло машин. Арбат, словно

вымерший, словно попятившийся от ужаса, пропускал сквозь себя через равные интервалы стайку за стайкой эти летящие машины.

Там сидел он или они, те, которые приводили в исполнение смертный приговор над народом огромной страны, а может быть, и над всем миром, приговор, вынесенный неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно за что.

Арбат ночной, заледеневший, застывший, Арбат-пустыня и летящие по его мостовой черные силы — пожалуй, лучше тебя не помнить, а может быть, лучше даже о тебе и не знать.

Публикацию подготовила С. ДОМОГАЦКАЯ.